

АЛЕКСЕЙ АКИШИН

**НА ЦВЕТУЩЕМ
ЛУГУ**



Писательская организация
Кострома
1999



Эта вторая книга молодого прозаика, живущего в дальнем районе, должна была выйти десять лет назад. Но и теперь, читая повесть, я не испытывал желания просить автора что-то переделать или написать иначе, в другой тональности. Ни автор, ни редактор не почувствовали такой необходимости и после того, как стало уже очевидно, что «все у нас... кувырком покатилось». Яркие картины детства, подростковые впечатления последовательной цепью воспоминаний осмыслены взрослым деревенским жителем и превратились в художественное повествование с естественной философией правды, добра, красоты и любви.

Особое знание провинциальной русской действительности, понимание причин многих бед и печалей определяют обстоятельность, неторопливость письма. Алексей Акишин выстрадал собственное понимание драматических событий, без публицистической прямолинейности говорит о том, что печалит и тревожит, чем привлекательна совестливая жизнь не только на цветущем лугу, но и возле трудных проселков, среди снегов и метелей. Картины природы и сельского быта, житейская связь между людьми, противоречия повседневного общения, воспринятые мальчиком, в осмыслиении повествующего взрослого человека наполняются то смешным или радостным, то печальным или тревожным содержанием. Живописная и меткая народная речь, яркие бытовые подробности, одушевленные пейзажи различных времен года и отчетливо проявленные характеры земляков — здесь прежде всего видятся мне достоинства искренней и душевной прозы. В наше время такие книги особенно необходимы тем, кто наследственно воспринял способность любить родную землю.

Михаил БАЗАНКОВ



Мне вновь приснилась пестрая корова. Она, почти не касаясь ногами усыпанного ромашками луга, медленно плыла навстречу. Ее хвост, задранный кверху, пышною метелкой колыхался в прозрачном дрожащем воздухе, словно грозил кому-то, а большое жилистое вымя с розовыми оттопыренными сосками металось из стороны в сторону.

Я проснулся и долго не мог прийти в себя. До боли щемило сердце, словно что-то тяжелое, невидимое навалилось на грудь. Я поворочался с боку на бок, встал с кровати и осторожно, чтобы не разбудить жену скрипом рассохшихся паркетин, прошел на кухню. Стоящие на холодильнике часы зеленоватым холодным светом высвечивали четверть второго.

На улице было тихо, пустынно. В пятиэтажке напротив пунктирами светились лестничные площадки, тускло горели одинокие окна полуночников.

Спать не хотелось. Включив свет, я поставил на газовую плиту чайник. Но, как бы я ни старался все делать бесшумно, жена проснулась и привидением появилась в дверном проеме.

— Чего не спиши? Курить среди ночи надумал?

— А-а-а, — притворно зевая, проговорил я. — Сон како-
то дурацкий привиделся.

— Ясно, — тихо проговорила она и понимающе кивнула
головой. — Та самая, с рогами, пятнистая?..

Я молча моргнул в ответ: она, мол, она, но не пятнистая, а
пестрая.

— Только не кури, бога ради. Бросать же собирался...

Жена стояла и смотрела на меня заспанными глазами, слегка
навалившись на белоснежную стенку кухонного гарнитура.
В легкой полупрозрачной сорочке Галина казалась мне совсем
совсем юной девочкой, какою она была почти двадцать лет
назад, когда нам с ней со всех сторон шумного свадебного за-
столья разноголосо кричали: «Горько! Горько!»

— Что ты мучаешься? — жалостливо спросила она и, не
дожидаясь ответа, добавила: — Возьми да и съезди туда. Мож-
ет, и отстанет от тебя эта пятнистая...

— А что, — согласился я, плотнее зажимая в ладони короб-
ку спичек и сигарету, — отпуск через неделю. Дел на даче горя-
щих пока нету, а ремонт квартиры никуда не денется —
подождет. Поеду, побываю, столько лет не бывал...

— Конечно, побывай, — шепнула жена и так же легко и
незаметно, как и появилась, исчезла за косяком.

Я отворил форточку и закурил, глядя на уснувшую городс-
кую улицу. Над высокой трубой стоящего неподалеку авторе-
монтного завода одиноко висела полная бледноватая луна. В
предутренней июльской дымке она была тусклой, расплывча-
той. На плите кипел и позванивал крышкой чайник.

«Ну надо же! — с какой-то необъяснимой тоской и грустью
выдохнул я. — И сколько же она будет мне сниться?»

* * *

Жили мы в просторном пятистенке. В одной половине
— дед Фрол с бабушкой Пелагеей, а в другой мы. Изба
наша была самая красивая в деревне. Резные краше-
ные наличники, под окнами палисад с разросшимися во все сто-
роны кустами смородины, с огненно цветущими мальвами и
желтизной ноготков. За оградой возле скрипучего колодезного
журавля почти до самой крыши стеной поднимался по тычин-
нику темно-зеленый душистый хмель. Покачивались на шестах
дуплянки-скворечники. Под самым князьком каждое лето юти-
лись ласточки-щебетуны, а чуть ниже их гнездовья была при-
лажена самошитая нарядная кукла. Она тут появилась в тот
день, когда мы провожали в армию маминого брата — дядю
Мишу. Сшила ее бабушка, а дед Фрол, притащив из-за двора

длинную-предлинную лестницу, осторожно, чтобы не растревожить уже появившихся ласточат, укрепил куклу под козырьком крыши.

— Пусть на дорогу смотрит, Мишку дожидается! — самодовольно и громко проговорил дед, спускаясь с верхотуры. — А снимать ее ты будешь! — подмигнул он сыну. — Как вернешься со службы, сразу же лестницу в руки подам...

В тот день изба наша ходила ходуном. Провожать дядю Мишу собралась вся деревня, приехал из райцентра хромоногий дедов братан — Шурка-гармонист. Он, поскрипывая деревянным протезом, сразу же лестницу в руки подошел к нам.

— Здорово живем, сорванцы! А когда вас в армию отправлять будем? В каких классах учитесь?

— В четвертом, — ответил я.

— Во втором, — прописклиял Костик.

— Ну, значит, скоро, — потрапал наши вихры Шурка-гармонист. — Глядишь, и я доживу. Так, мужики?

Смущенно улыбаясь, мы закивали головами.

— Только меня пригласить не забудьте! — пригрозил он пальцем и, вытянув вперед протезную ногу, уселся за краешек стола.

Пели и плясали долго. Сперва в избе, а потом, когда в доме стало тесно и душно, вместе с гармонистом вывалили на улицу.

Дядя Миша весь вечер просидел за столом с Настиной Сорокиной, которая жила с матерью на самом конце нашей деревни. К ним несколько раз подсаживалась бабушка Пелагея, ласково поглядывая то на одного, то на другого. Она подливала им пива в большие граненые стаканы, о чем-то говорила, время от времени вытирая платком размаревшее в духоте лицо. Настинка, слушая ее, то шумно смеялась, встряхивая темными пышными кудряшками, то нежно прижалась к плечу дяди Миши.

Мы с Костиком выглядывали из-за заборки и, корча рожицы дяде Мише, хихикали: постриженный наголо, он казался нам очень смешным, не похожим на самого себя.

Настинка, видя наши проделки, зыркала на нас и притопытывала ногой.

Утром нас разбудил громовой бас Шурки-гармониста.

— Ми-и-ишкa! Японский ты городовой! Куда запропастился?

— Да он спит где-нибудь, — отозвался дед Фрол. — Перед дальней дорогой отсыпается.

— Это уж точно, что спит, — расхохотался Шурка. — Только вот где. Уж не к этой ли краle под крыльышко забрался?

— Неужто нигде нет, — донесяся бабушкин голос. — Погодь-ко, я робятишек на розыски пошлю, они быстро на него натакаются...

Мы будто на крыльях облетели всю деревню и вернулись обратно: дяди Миши нигде не было.

— Вона он, дезертир! — на всю улицу загремел Шурка, показывая рукою на стоящую поодаль конюшню.

По пологому конному взвозу осторожными маленькими шажками спускалась Настинка, а позади нее — дядя Миша.

— Нашли! Нашли! — обрадованно закричал и запрыгивал Костик, оглядываясь на растворенные бабушкины окна.
— Они лошадей ходили кормить!

— Тише ты, соловей! — одернул его дед Фрол. — Ишь, скапидар этакий, расчиркался! И так видим... А ну, братан, — повернулся он к гармонисту, — заводи что-нибудь повеселей да погромче!

На улице уже снова забегали с чайниками, подавая гостям пиво, заплясали. Дядя Миша и Настинка, подойдя к дому, уселись на скамейке подле гармониста.

Шурка весело подмигнул им и резко развернул меха. Гармошка засияла плясовым перебором с пущей силой. Из-под ног пляшущих мужиков струйками выбивалась пыль...

Милый в армию уехал,
Я сказала: «Точка!
Я ни с кем гулять не буду —
Эти три годочки!»

— вырвался из круга звонкий женский голос.

— Ты бы хоть, лешачиха бесстыжая, сено из волосьев по-вычесала, — прошипела, подойдя сзади к Настинке, ее мать — остроносая и худощавая тетка Феня. — Батько бы живой был, он космы-то тебе живо-два выдергал бы...

— Тетка Феня, да ты чего это? — заступился дядя Миша за присмиревшую, притихшую Настинку.

— Ужо придешь ты домой, рожа бессовестная! — процедила сквозь зубы тетка Феня и скрылась за палисадником.

Дядя Миша шепнул что-то Настинке, та едва заметно улыбнулась и еще теснее прильнула к нему.

Около полудня в деревню приехала машина и засигналила под нашими окнами. Дядя Миша, простившись со всеми, забрался в кузов. Подвыпившие мужики и бабы проводили машину за околицу. Не было только с ними Настинкиной матери. А вечером, прия с улицы, дед Фрол сообщил:

— Слышишь, Палаша! А Фенька-то свою дочку чуть, говорят, до смерти не уторкала. Коромыслом лупила...

Бабушка ничего не ответила, а только тяжело вздохнула и снова принялась мыть накопившуюся за проводины грязную посуду.

После проводов дяди Миши мы с Костиком словно чего-то

потеряли. Не было его, и Настинка, которая раньше почти каждый вечер наполняла нашу избу звонким, задорным смехом, не стала к нам заходить.

— Сама стесняется, или Фенька ее теперь взаперти держит, — не раз в эти дни сокрушалась бабушка, поглядывая на стоящую в конце деревни покосившуюся избу Сорокиных.

Настинка появилась у нас негаданно-незданно. Она, промелькнув под окнами, вихрем влетела в избу и, едва отышавшись, обрадованно и взволнованно заговорила:

— Тетка Пелагея! Письмо пришло! От Миши... Мне!

— Где хоть он? Как? — не давая Настинке договорить, приступила к расспросам бабушка.

— Да я еще не читала! Как почтальонка отдала, так я к вам сразу и побежала...

— Так ты садись, садись, — засуетилась, забеспокоилась бабушка, подставляя к столу табуретку. — А нам-то он чего не написал? Хотел ведь сразу, как и что, сообщить... Читай, милая, читай быстрее! Фрол-то куда запропастился? И он бы послушал.

Бабушка присела рядом с Настинкой, поправила редкие седеющие волосы и, чтобы лучше слышать, приставила к уху морщинистую суховатую ладонь.

Настинка аккуратно раскрыла конверт.

— «Здравствуй, Настюша! — громко, растягивая слова, словно первоклассница, читала она. — Шлю тебе привет из под Ленинграда...»

— Ишь, как он тебя ласково называет — Настюша! — не вытерпела, вполголоса проговорила бабушка.

— Не встревай! Не мешай девке читать! — оборвал ее незаметно вошедший с улицы дед Фрол.

Он, шаркая по полу грубыми ссохшимися сандалиями, подошел к столу и подсел к бабушке.

— Читай, девка, читай! Послушаем, как нашему поскребышу служится.

Но Настинка вдруг смущенно заулыбалась и примолкла, а губы ее чуть заметно шевелились...

— Поди, чего разобрать не можешь? — заерзала бабушка.

— Он ведь у нас, как ворона лапой, пишет. Возьми-ка, Фрол, прочитай!

— Да нет! — отпрянула назад Настинка и засмущалась еще больше. — Тут только для меня написано.

— В каких хоть войсках-то? — спросил, не удержался, дед.

— Ой, дед Фрол, подожди! — не отрываясь от письма, выпалила Настинка. — Не пишет об этом! О другом...

— Знамо дело, коли не сообщает, значит, в секретных, — гордо подчеркнул дед, поправляя густые темные усы.

Он, словно гусак, вытягивал шею, стараясь заглянуть в письмо, но Настишка отгораживалась от деда плечом.

— А вот и вам по привету передает! — воскликнула она, перевернув на последнюю страницу сдвоенный тетрадный листок, испещренный мелким корявым почерком.

— Вон скоко он тебе написал, — с ужимкой заметила бабушка. — Ты уж ответь ему как-нибудь поласковее... Да дождайся его.

— А я чего! — передернула плечами Настишка. — Я все вчера дома просиживаю, никуда шагу не делаю. Карточку свою ему вышлю, чтобы не забывал. Специально завтра съезжу, снимусь...

— Жди, девка, дожидайся, — заприговаривала бабушка.
— Он у нас на все руки парень, домовитый...

Настишка, прижимая письмо к груди, смущенно покраснела.

— Пойду я. Ответ писать буду.

— От нас по привету передай! — хрюпло проговорил дед.
— Напиши, что у нас все чередом, того и ему желаем.

— До свидания! Может, вечером забегу!

— Конверт-то, девка, есть ли у тебя? — крикнула ей вслед бабушка Пелагея. — А то дать можем. У нас их много запасено...

— Есть! — отозвалась Настишка и промелькнула под окнами.

— Дай-то вам бог счастья, — прошептала бабушка, проводив ее взглядом. — Ты бы, Фрол, — обернулась она к деду, — сходил к ним, крышу на ограде поправил. Еще в прошлом году как решето была... Может, и в самом деле Фенька сватьей нам будет. Такую девку нельзя отпускать, братя надо.

— Хороша девка, — согласился дед. — Завтра же схожу, подлатай...

Весь следующий день дед Фрол пробыл у тетки Фени. До мой его привела Настишка.

— Ты уж, тетка Пелагея, его не ругай, — виновато обронила она, усаживая на кровать изрядно захмелевшего деда. — Устал он. Весь день на крыше пробыл.

— Поди-ко, спяньцу плохо сделал? — усомнилась бабушка.

— Да нет! Очень даже хорошо. Теперь ограда у нас как новая стала. Посмотреть любо-дорого! А я, — поглядев на притихшего на кровати деда, вполголоса добавила Настишка, — письмо Мише уже отправила. С молоковозом раным-ранешенько послала. До полночи писала.

— А от нас привет передала? — спросил рассевшийся на подоконнике Костик.

— Передала! А то как же! — выпалила Настишка. — Побе-

гу я, мне корову доить надо. В гости к нам приходите — мама обязательно пригласить велела...

Нас разбудила бабушка.
— Коська-а-а! Митька-а-а! Вставайте! Колобы стынут...
Мы бойко соскакивали с кровати и, на ходу протирая заспанные глаза, спешили к бабушке на кухню. В печи у нее трещало и верещало, а на столе в большой алюминиевой тарелке горкой лежали румяные оладьи. Мы было сразу бросились к ним, но дед Фрол сердито глянул на нас исподлобья.

— Только через рукомойник! Марш умываться!

Он сидел у окна и курил трубку. Отправив нас к рукомойнику, дед принялся свободной рукой подкручивать усы. И мы, увидев его за этим занятием, сразу сообразили: он сегодня строг и сердит, а потому перечить ему ни в коем разе нельзя — подзатыльника выпишет.

— Брось крутить! — шикнула на него бабушка. — Оторвешь вместе с брылой! А то давай ножницами отпазгну, и делу конец!

— Ты мои усы не трожь! — не поворачивая головы, огрызнулся дед. — А у себя чего хошь отстригай!

— Не ершись! — уставилась на него бабушка, добавляя в тарелку свежие, пышущие жаром оладьи. — Начальству виднее. Оно знает, что делает.

— Виднее, виднее, — передразнил ее дед Фрол.

Он крепко выругался и снова уставился в окошко.

Мы с Костиком непонимающе зыркали то на бабушку, то на деда и одну за другой уплетали пышные парные оладьи, запивая их свежим пенистым молоком. Спрашивать, о чем они спорят, было боязно — дед сидел рядом и нет-нет да и поглядывал на нас искоса. Он не любил, когда мы совали свой нос в чужие дела.

Первым из-за стола вышел Костик.

— А ну обратно! — громко и отрывисто скомандовал дед.

— Что ты за солдат такой будешь — шкелет шкелетом! Палаша, налей-ка ему еще молока!

Костик лениво скособенился, а потом поднял руки и сжал кулаки, пытаясь показать мускулы. Но руки его были тонки, словно веревки, и он, не выдержав пристального и сурового взгляда, снова сел на скамейку...

В школе из-за маленького роста и неимоверной худобы его дразнили заморышем. А однажды, когда мы шумной ватагой купались в пруду, Костика подозвал к себе мальчишка, приехавший в гости из Иванова:

— Подойди-ка сюда! — поманил он пальцем.

Брат робко приблизился к нему. А тот присел на корточки,

легонько ткнул пальцем меж ребер и громко расхохотался:

— Во находка! Да тебя же в нашу школу надо увезти! У нас, понимаешь, все есть, а вот живого скелета нема. Тебя же как учебное пособие использовать можно. Косточки, ребрышки изучать...

Городской мальчишка снова рассмеялся и, сложив руки лодочкой, с разбегу плюхнулся в воду. Вынырнул он далеко от берега и прокричал Костику:

— Ладно, не обижайся! Без обиды я, пошутил. Приходи, лески тебе капроновой дам!

И с этого дня они с Костиком стали неразлучными друзьями.

Обычно после завтрака дед Фрол уводил нас в свою просторную столярку, где он целыми днями точил из тяжелых березовых чурок втулки для тележных колес, ладил на всю деревню косы и грабли.

Нам особенно нравилось, когда дед токарил. Мы по очереди прыгали на широкую, похожую на западню, педаль, помогая раскручивать колесо токарного станка.

Когда оно набирало обороты, дед Фрол осторожно отстранял нас от педали, и острый блестящий резец впивался в шершавую березовую чурку. Мы длинными легкими лопатками отгребали из-под станка белые рыхлые стружки и поглядывали наверх: быстрый бы втулка была готова. Когда дед заканчивал ее вытачивать, он подавал нам березовые колечки — остатки от чурака. Тогда мы пулями вылетали на пыльную деревенскую улицу и с разгону кидали их вдоль дороги. Кругляшки долго катились, взметывая мучнистую пыль, и, подпрыгивая на комовьях, вихлялись, потом крутились на месте и падали.

— Ну что, мужики, — неторопливо начал дед Фрол, когда мы, поглядывая на него, робко отодвинули на средину стола ополовиненную тарелку и пустые кружки. — Сегодня и вам председатель наряд выписал. Всю деревню обойти надо, всех от мала до велика на собрание позвать. У нас в дому оно будет. В восемь часов вечера...

— Здесь? У нас? — переспросил Костик.

— Да. Так и говорите всем, чтобы в наш дом приходили.

— А что за собрание? — поинтересовался я.

— Колхоз нарушать будут, — ответил дед Фрол, не перевставая мусолить и без того тонко скрученный ус.

— Мелешь и сам не знаешь чего, — упрекнула его бабушка. — Не слушайте его, дурака.

— Ты меня балаболкой не считай! — строго ответил дед. — Газеты читать надо! Тогда и наперед будешь знать да угадывать что-нибудь.

Мы, обрадованные такому заданию, побежали по деревне. Доярки уже были дома. Отыскали и Степана-пастуха. Он в этот день пас коров недалеко от деревни — в Осокином лугу. На обратном пути заскочили в кузницу к лысоватому краснолицему кузнецу Ивану Сергеевичу.

— Опять двадцать пять! — выслушав нас, проговорил кузнец. — Леший их знает, чего хотят: то в колхоз, то из колхоза, то деньги меняют... Ладно, приду, — проворчал он нам вслед, вытирая рукавом потный широкий лоб.

Кузнец сказал еще что-то, но мы не рассыпали. На окраине деревни нагнали возвращающуюся с телятника Настинку.

— Пойдемте ко мне, — ласково пригласила она. — Фото-карточку Мишину покажу — вчера пришла.

— А у нас тоже есть! — с бойкостью выпалил Костик. — Бабушка на стенку прикрепила.

— У меня не такая, — с улыбкой взорвала Настинка. — Он там с винтовкой стоит.

— С винтовкой? — удивились мы. — Тогда пошли!

Настинка, показав нам фотографию, угостила пирогом-картофельником, насыпала полные карманы конфет. Мы пытались отказаться от ее угощения, но она была настырной и несговорчивой.

— Берите, берите! И потом не чужайтесь, бывайте.

— Митька! — обиженно обратился ко мне Костик, выходя за калитку Настинкиного дома. — А чего дядя Миша нам такую карточку не прислал? Ты напиши ему. А Настинка-то, — улыбнулся он, — нисколечко вооружение не понимает. Это же автомат, а не винтовка...

— Всем сообщили? — встретил нас у столярки дед Фрол.

— Так точно, товарищ генерал! — по-солдатски вскинул руку Костик. — Всем до единого!

— Молодцы! — похвалил нас дед и тут же скомандовал: — Шагом марш бабушке помогать!

Мы послушно поднялись на крыльце, а на лестницуступить побоялись и встали как вкопанные: широкие ступеньки были высокоблены до белизны, а поверх красивой разноцветной дорожкой лежал новый домотканый половик.

— Под ноги, под ноги смотрите! Не скутите половики! — грозно предупредила нас бабушка Пелагея. — И на печке приберитесь, вы же там все развалили!

В избе, кроме бабушки, хозяйничала и наша мать. Она размахивала из стороны в сторону набитым горящими углами утюгом, а потом, когда он разогрелся, принялась утюжить занавески.

— Сима! — позвала ее бабушка. — Отложи утюг-то пока. Пусть сильнее накалится. Давай-ка скатерку посмотрим. Какую-

нибудь поначе надо постелить.

Они, покопавшись в большом, окованном железными звитушками сундуке, расстелили на столе красную скатерть с длинными и пышными кистями на краях.

— До Мишкиной свадьбы не хотела доставать, — пожала плечами бабушка. — А с образами что делать будем? — спросила она, показывая на стоящую в божнице большую икону в золоченой рамке. — Снимать-то грех, наверное, будет. Нельзя. И не убирать нехорошо, люди-то партейные будут — вдруг да разгневаются...

— А может, занавеской задернуть на время, — предложила мать. — Неужто они туда заглядывать будут...

К вечеру наш пятистенок преобразился. От самого порога начинались скамейки, сооруженные из широких половых досок и табуреток. У окна под задернутой божницей краснел скатертью стол, рядом стояли стулья с резными лакированными спинками. Дед Фрол притащил их от нашего соседа — кузнеца Ивана Сергеевича.

Дед, проверив подготовку к собранию, почесал за ухом и передернул усами.

— Все хорошо, надо еще только воды на стол поставить. Оно, начальство-то, помалу не говорит. А от долгого говорения в горле, бывает, першиت.

— Банку пол-литровую, — не задумываясь, предложила мать. — Или не хватит? И стакан.

— Дура! — резко оборвал ее дед Фрол. — Может, еще горшок ребячий надумаешь! Графин надобно. Такой, как у счетовода нашего.

— А у нас же четверть в подполье валяется — спохватилась бабушка. — Красивая она и небольшая. Подойдет, может?

— Во! В самый раз будет! — согласился дед. — Только помойте ее хорошенъко с углами и бумагой, чтоб самогонкой не перло. А то унююхают, греха потом не оберешься!

Перед собранием под нашими окнами яблоку негде было упасть: людей собралось, будто на игрище.

— В избу, в избу проходите! — раскланивалась на крылечке бабушка.

— Успеем, насидимся! — дружно отвечали ей мужики, поглядывая на дальний перелесок, откуда должно было появиться районное начальство.

— А может, они нас проманули? — засомневалась Настинка.

— У них что, окромя нас, дел мало? — отозвался кто-то из толпы. — Задерживаются.

— Приедут, — начальственным голосом проговорил дед Фрол. — Председатель наш тоже вместе с имя прибудет. Он

раным-рано в район укатил... Курите, мужики, покуда времечко есть. А собрание состоится: раз Евсейч сказал, значит, быть таковому! Он слово по ветру не пущает.

В ответ ему заподдакивали, закивали головами. Дед гордо и величественно поднес ко лбу широкую заскорузлую ладонь и стал пристально вглядываться в уходящую к лесу дорогу. Но там никого не было видно.

У нас с Костиком была самая выгодная позиция: мы забрались на чердак и сидели у раскрытоого окна. Отсюда и дорога, и поле, расчерченное ею до самого леса надвое, были видны как на ладони.

— Едут! Едут! — заорали мы, заметив у кромки березника белесые клубы пыли, вздывающиеся над полем.

Внизу сразу засуетились. Мужики спешно докуривали папиросы и самокрутки. Бабы, поправляя на себе платья и платки, гуськом потянулись в дом. Мы сломя голову сиганули с чердака и воровато, чтобы не попасть дедушке на глаза, юркнули на кухню и тут же столкнулись с ним носом к носу.

— А ну марш отсюда! — зыркнул на нас дед. — Чтоб вас не видать, не слыхать было!

Но мы все-таки на этот раз ослушались, перехитрили его. Пока дед поправлял половики, свисающие с половиц-скамеек, забрались на печку. Под окнами прогудели и остановились две легковушки.

— Иван Сергеевич! — негромко обратился к усевшемуся у окна кузнецу рыжеватый Сенька-молоковоз. — Который тута-ка самый главный?

— А вон за нашим председателем вышагивает. Кучерявый и в шляпе...

— Кто такой?

— Секретарь райкома. Зубов Александр Митрофанович...

— А-а-а, — растерянно раскрыл рот Сенька-молоковоз. — А вроде бы там другой был?

— Был, да сплыл! Этого привезли. Уже полгода в районе ворочает. Знать бы надо.

— Это тебе надо знать, ты партийный, — не растерялся молоковоз. — А я что? Шишка на ровном месте, а потому и не знать его не грешно. А этот маленький, плешивенский кто?

— Да ты что, Сенька, ослеп, что ли? — обернулся кузнец.

— Председателя из «Красного сокола» не признал.

— Его-то на кой ляд привезли?

— Тише вы! Балаболите, чура не знаете! — одернули их сзади.

— Иван Сергеевич! — завертела головой, выискивая глазами кузнеца, сидевшую на первом ряду Фенька. — Иди сюда! А то нам без мужика-то здесь боязно сидеть!

Кузнец, поскрипывая начищенными до блеска хромовыми сапогами, молча прошел меж рядов и уселся напротив стола. Он одернул полы пиджака, поправил медали, теснившиеся на груди. Носил их Иван Сергеевич очень редко — только по майским и ноябрьским праздникам, а все остальное время награды его покоились в красивой коробке из-под чая.

— Здравствуйте, товарищи! — на всю избу раздался неизвестный отрывистый голос.

Сидящие на скамейках мужики и бабы заоборачивались, закивали в ответ.

— Все в сборе? — оглядываясь вокруг, спросил высокий черноволосый мужчина.

— Окромя немощных — все до единого! — привстал с места дед Фрол. — Это внуки мои постарались...

Услышав похвалу, Костик обрадованно ткнул меня в бок: смотри, мол, не зря по деревне полдня бегали, и нас похвалили...

Приехавшие на легковушках не спеша рассаживались за столом.

— Сегодня нам необходимо провести собрание колхозников «Зари коммунизма», — опираясь на покрытую кумачом столешницу, объявил чернавый. — Но для начала надо познакомиться. Я, — хлопнул он себя по груди, — первый секретарь райкома партии Александр Митрофанович Зубов. Рядом со мной, — стрельнул взглядом на остроносого худощавого мужчину, — товарищ Александр Михайлович Шатилов. Своего председателя вы, конечно, знаете — представлять его нету надобности. А это, — Зубов показал на сидящего за краешком стола председателя соседнего колхоза, — товарищ Степан Аристархович Потапкин. Ну и последний — председатель райисполкома Анатолий Иванович Гусев. Должен был еще приехать начальник сельхозуправления, но он уехал в командировку. Вот и все. А с вами, — секретарь райкома с улыбкой развел руками, — познакомимся в процессе собрания. Согласны?

— Согласны! Согласны! — многоголосо вторили ему колхозники.

— Тогда для ведения собрания необходимо избрать, так сказать, рабочий президиум. Хотя, — Зубов молча осмотрел всех сидящих в избе, — хотя и говорят, что самозванцев нам не надо, но, так как вопрос, так сказать, серьезный и даже серьезнейший, председательство беру на себя. Поэтому необходимо избрать секретаря для ведения протокольной записи. Кто хочет предложить кандидатуру?

— Я! — вскинула руку Фенька.

— Пожалуйста, называйте!

— Я пре...пре...предлагаю, — заикаясь, забормотала она,

вынимая из-под полы махонькую бумажку. — Я предлагаю избрать секретарем общего колхозного собрания счетовода Гришку... Григория Мамоновича Сорокина...

— Спасибо, садитесь! — кивнул ей секретарь райкома. — Других кандидатур нет?

— Нет, — равнодушно ответил сидящий рядом с Фенькой кузнец.

— Я думаю, — расправил плечи Зубов, — кандидатура, так сказать, неплохая. Григория Мамоновича мы хорошо знаем. Хороший счетовод, парторг колхоза... Кто за то, чтобы товарища Сорокина избрать секретарем собрания, — прошу голосовать.

— Пущай пишет! Ему это дело сподручное! — отозвался наш отец, поднимая руку.

За Григория Мамоновича проголосовали все, кроме глухой бабки Степаниды. Когда вокруг нее все поднимали руки, она непонимающе хлопала глазами, а потом, когда Зубов спросил: «Кто против?», бабка Степанида, приподнявшись со скамейки, выкинула вверх растопыренную пятерню.

Все шумно засмеялись, а председательствующий с усмешкой спросил:

— Наверное, он тебя с трудоднями обремизил? Поэтому против него и голосуешь?

Бабка Степанида вытянула тонкую жилистую шею и приставила ладонь к уху.

— Не чую я, милок, ничего. Ты громче говори!

Все снова засмеялись. Мы с Костиком тоже не вытерпели, прыснули от смеха. Сидевшая рядом с печью бабушка Пелагея покосилась в нашу сторону и чуть заметно погрозила пальцем.

Счетовод, гордо выпятив грудь, протиснулся меж тесно сидящих мужиков и занял место за столом.

— Собрание продолжается! — когда все притихли, зычно проговорил Зубов. — На повестке дня один вопрос: организация совхоза. По этому поводу выступлю я... Кстати, замечу, что такие собрания мы провели на этой неделе в пяти колхозах. Это, так сказать, шестое.

Говорил секретарь долго. Рассказывал про Кубу, которая наконец-то вырвалась из зубов какой-то империалистической акулы, про другие страны... О чем-то еще.

— А кто такой Куба? — вытаращил на меня глазенки Костик.

— Страна есть такая, — пояснил я.

— Так что, акула и страны съесть может?

Я вместо ответа дал ему щелбана, и он замолчал, потом нашел обгорелую спичку и принялся вытuriвать из щелей полусонных тараканов. Его занятие заинтересовало и меня...

— А сейчас, — подчеркнуто громко сказал ведущий собра-

ние, — самое, так сказать, главное. Сегодня перед нами ставится задача перейти к новому этапу в социалистическом развитии сельского хозяйства. Нам нужно в ближайшие годы обогнать Америку по молоку и мясу. Именно такие задачи ставит на сегодня перед нами наша коммунистическая партия. Достижением этой цели мы покажем всему миру, всему рабочему классу истинные пути к светлому будущему, в котором все будет, так сказать, в полнейшем изобилии.

Исходя из этого, — перевел дух секретарь райкома, — по всей нашей стране идет формирование крупных современных совхозов. По оценкам знающих людей, которые там, — он поднял палец вверх, чуть ли не дотронувшись до божницы, — которые сидят выше, только такие мощные хозяйства способны резко увеличить производство молока и мяса. Поэтому ваш колхоз и еще пятнадцать таких же хозяйств, так сказать, карликов, решено объединить в единое цельное хозяйство. Оно должно стать ударным кулаком нашего района...

— Это что, значит, новая коллективизация начинается? — не удержался, спросил дед Фрол.

— Я еще не закончил свое выступление! — строго посмотрел на него Зубов. — Но все же отвечу. Да, это в чем-то схоже с прежней, давней коллективизацией, но эта пойдет на новом, более высоком уровне. В конце я отвечу на все ваши вопросы, а сейчас еще несколько слов, но самых, так сказать, главных для вас. Значит, так: директором совхоза, название которому решено позаимствовать у вашего колхоза, рекомендован и уже назначен и утвержден товарищ Шатилов Александр Михайлович...

Из-за стола приподнялся и кивнул головой остроносый мужчина.

— Кратко охарактеризую его, — продолжал секретарь райкома. — Руководитель он опытный. Выходец из рабочей среды. Пролетарий, так сказать. Был на комсомольской работе, секретарем партийной организации, занимал должность председателя райпо, потом руководил кирпичным заводом. По направлению партии был и на других ответственных постах. Товарищ Шатилов обладает недюжинными организаторскими способностями, умеет, так сказать, ладить с людьми. Вот поэтому он и направлен к нам директором совхоза. Секретарем партийной организации райком рекомендует избрать бывшего председателя колхоза «Красный сокол» товарища Потапкина Степана Аристарховича. Его, думаю, представлять не надо. Он у нас на самом лучшем счету. Очень исполнительный и дисциплинированный, а именно это — исполнительность и дисциплина — и потребуется при организации и развитии совхоза. Полагаю, что ваши коммунисты поддержат имеющееся у нас мнение.

Мужики переглянулись, засуетились:

— А почему бывшего председателя?

— Тише, товарищи! — постучал ручкой по столу счетовод.

— Мешаете работе столь важного собрания. Совесть имейте, сам товарищ Зубов приехал, а вы галдите, как на базаре...

— Да, я не оговорился, — выждав, пока не закончил говорить Григорий Мамонович, подтвердил свои слова секретарь райкома. — Степан Аристархович уже не председатель колхоза, и «Красного сокола» уже нет. Вчера там состоялось такое же собрание, и оно единогласно решило войти всем колхозом в состав нового хозяйства — совхоза. Сегодня такое же решение надо принять и вам. У меня все. Кто желает взять слово?

Бабка Степанида, все время клевавшая носом, вздрогнула и резко подняла руку.

— Пожалуйста! Слушаем, как вас по имени-отчеству? А ты, Мамонович, записывай, кто и что говорить будет.

Степанида снова, словно сорока, закрутила головой из стороны в сторону и, видя, что никто больше не голосует, быстро спрятала руку.

— А ну вас к лешому, — пробормотала она себе под нос и затихла.

— Она вовсе глухая! Чего с ее, тетери, спрашивать? — крикнул, не вставая с места, конюх Васютка Полушкин.

— Сам тетеря! — обернулась на него бабка Степанида. — Вот тебя-то услышала — про меня говоришь...

— Ну, услышала и ладно, — согласно кивнул ей Васютка.

— А теперь, коли никто насмелиться не может, дайте я первый насчет совхозу начну...

— Только по делу говори, — предупредил его Зубов. — Без всяких таких шуточек, а то я смотрю — ты зубоскалить мастак.

— А я без дела никогда не говорю, — обиженным тоном начал Полушкин. — Это вы тут говорите, объединяться, мол, надо, все колхозы в кучу свалить. Может, это и хорошо, но я в моем личном смысле стою супротив этого решения, и в самой категоричной форме. Вот у вас под боком сидит председатель колхоза «Красный сокол»...

— Уже, повторяю, не председатель, — насупив брови, поправил конюха Зубов.

— Какая, к лешаку, разница — председатель он теперече или нет, — не срубел Васютка. — Дело вот в чем. У них в колхозе лошадей раз-два и обчелся, да и то все заморенные, как доски стиральные... И половина не езжалых. А у меня, категорично справедливо говоря, кобылки, как лани, бегают, и жеребец такой, что еще поискать надо. Так вот ответьте мне, как конюху, почему это мы ихних да наших лошадей в один табун сгонять будем? И почему мои кобылки навоз будут возить на

чужие чьи-то поля да косилки с граблями ненашенские таскать? Несправедливость, категорично говоря, получается...

— Вот чудак-человек, — раздосадованно улыбнулся секретарь райкома. — Так ведь не только кони, но и поля, и фермы — все будет общее, совхозное. Это во-первых, так сказать. А во-вторых, кони — дело не перспективное. Через год-другой лошадей совсем не потребуется — техника все будет делать. Сплошная механизация, так сказать, уже на пятки наступает.

— Это еще бабушка надвое сказала! — огрызнулся с места Васютка. — Как бы то ни было, а я все равно против объединения! Пусть другие выскажутся!

— Правильное слово наш конюх молвит, — поддержал Полушкина седовласый дед Михайло. — Это, помню, в тридцать втором было. Тоже приехали. Только не на таких легковушках, а в кошелках, на вороных. Один даже с наганом был. Ну и поперли: коров и лошадей в один день в кучу согнали. Общие, мол, будут. Да ничьими они оказались. Той же зимой половина скотины ухайдакалась — сдохла от голода да от разрыз какой-то. Вот и получилось, что заместо райской-то житухи люди сбирать пошли, побежали кто куды. Свидетель я тому. Сам с котомкой по деревням ходил, кто бы милостыньку поддал. И подавали: кто горбушку, а кто по морде. Так это что, значит, снова затевается: вали все в кучу — потом разберемся? Я уже стар, мне, может, жить-то осталось всего ничего, а вы, мужики, — Михайло не спеша огляделся по сторонам, — смотрите, да хорошенько! Как бы боком все это не вышло... На словах-то да на бумаге оно всегда гладко бывает, а на деле — вовсе другой коленкор получается...

— Темный ты человек, Михайло! — прервал его счетовод. — Перспективности не усматриваешь... Можно мне высказатьсь?

— Давай, секретарь, скажи свое веское слово, — согласно кивнул Зубов.

— Товарищи колхозники! Я думаю, что и Васютка и Михайло не дело говорят. Не видят они дальше носа своего, от жизни отстают и нас туда же тянут. Темные они люди. Мыслить надо масштабнее, а не только о своем угле. Надо, товарищи, объединяться! А почему? Попробуй объяснить. Что, к примеру, у нас Фенька живет одна с дочкой. Крыша потекла, и залатать некому. Силенок да и, можно сказать, ума-разума не хватает на это дело. К Фролу ей пришлось за подмогой обращаться. А что, если б у этой нашей Феньки сыновей пяток было? Они бы ей не только крышу перебрали, из дома бы терем сделали. Поэтому как, — счетовод сжал пальцы в кулак, — все вместе — сила! Так и с нашими колхозами получится. Объединимся и еще сильнее будем, молоком зальем и мясом завалим.

— Правильно, Мамонович, мыслишь! — подбодрил его секретарь райкома. — Один палец не сила, а все вместе — кулак!

— Вот то-то и оно! — передернул плечами счетовод. — Ежели будем совхозом, любые горы свернем. Фермы, как говорил товарищ Зубов, построим крупные, современные, со всему необходимою механизацией, МТС мастерскую нам передает. Полей в совхозе будет из конца в конец за сутки не объедешь. Паши да сей, не ленись! Партия подсказывает нам, что создание крупных хозяйств — это на сегодня единственно правильный путь к лучшей жизни, и потому я призываю, и как колхозник, и как партторг, голосовать за совхоз.

— Вот уж дудки! — вполголоса проговорил кто-то хриплым голосом, но сидящие не обратили на это внимание.

— А вы, женщины, что молчите? — уставился на передние ряды председатель собрания. — Каково ваше мнение?

— А мы чего? Мы — ничего! — скороговоркой ответила наша мать. — Если все объединяются, то мы или рыжие? Тоже пойдем за ними.

— Ты, Симка, язык-то не высовывай! — прикрикнул на нее дед Фрол. — Мало еще пожила, чтобы в такие дела соваться, скапидар этакий!

— Вы где, товарищ, сидите? — покосились на деда из-за стола.

Дед Фрол сразу после такого начальственного окрика притих.

— Чего их, баб, спрашивать? — поднялся с места Иван Сергеевич. — Недаром говорят: курица не птица, а баба не человек. Дайте я слово скажу!

Кузнец переминулся с ноги на ногу и продолжил:

— Человек я партейный. На фронте был, а ноне в кузне роблю...

— Ты, Иван, не о себе, а о деле говори, — одернул его Григорий Мамонович. — Тебя же как облупленного все знают, да и в протокол собрания твоя биография не нужна...

— А я о деле и говорю, — не оборачиваясь к счетоводу, ответил кузнец. — Так вот, надо, допустим, мне какую-то штуковину выковывать. Можно кувалду в руки — тяп-ляп и готово! Но ведь так в реальностях не бывает. Сначала башкой прикинешь, сообразишь, что к чему и как лучше, а потом уж и за дело берешься. С бухты-барахты ничего делать не должно. Этак бы и с совхозом надо поступать, повременить, покумекать... Колхоз разогнать никогда не поздно, был бы прок токо...

— Ты коммунист, значит? Так я понял? — пристально посмотрел на него Зубов.

— Да, Александр Митрофаныч, коммунист... С сорок вто-

рого года.

— И против создания совхоза выступаешь? Против, так сказать, генеральной линии партии?

— Выступаю против или не выступаю — это еще посмотреть надо, — твердо и сухо ответил кузнец. — Я говорю то, что думаю. А думаю я так, что нашим людям пока и в колхозе простору хватает...

— А я вот что думаю, — оборвал его Зубов. — Партийный билет у тебя, так сказать, лишний, наверное. Может, его тебе по ошибке выдали?

— Отобрать хотите? Не выйдет такого марафета, товарищ секретарь! Не отдам! Мне его политрук в окопе под Ленинградом вручал. Под пулями. Вот эту руку, — Иван Сергеевич выставил перед собой широкую загорелую и прокопченную ладонь, — мне пожал, а через полчаса... через полчаса я ему своими руками глаза закрывал. Снайпер немецкий подловил. Так вот он мне партийный билет вручал не для того, чтобы его ни за что ни про что такие, как ты, отбирали... Вот так-то! И я, как коммунист, говорю со всему сурьезностью, что с совхозом нам обождать надо, посмотреть, как оно у других получаться будет...

— Это не тебе нас поучать, что делать! — раздалось из-за стола. — А с Уставом ты в буквальном разладе живешь...

Иван Сергеевич, словно ища поддержки у деревенских мужиков, обернулся назад. В избе сразу все загадели. Дед Фрол пересел ближе к печке и закурил. Сенька-молоковоз махнул рукой на сидящих за столом — в другом, мол, месте дураков поищите — и хлопнул дверями. За ним выскочило еще несколько мужиков.

— Куда пошли? А ну обратно! — застучал ручкой по ополовиненной четверти Григорий Мамонович. — Давайте голосовать!

Беглецы, пряча в ладонях дымящиеся папиросы, воротились в избу и остановились около порога.

— Итак, начнем голосование! — объявил председательствующий. — Кто за создание совхоза, прошу поднять руки.

Мы с Костиком, отогнув занавеску, скосили глаза на деда Фрола. Он сидел около печки и с жадностью попыхивал самокруткой, поглядывая по сторонам.

Первым поднял руку Григорий Мамонович. Потом, глядя на него, растопырила пальцы бабка Степанида. Над первыми рядами взметнулось еще несколько ладоней. Уткнувшись в стол, медленно поднял руку и наш председатель колхоза.

Мать оглядывалась по сторонам, видимо, не зная, то ли голосовать за совхоз, то ли нет. Перехватив ее взгляд, дед Фрол показал ей крепко сжатый кулак, и мать опасливо втянула голову в плечи и скрестила на коленях руки.

— Вот так-то лучше будет, — буркнул себе под нос дед.

— Слыши, Фрол, — тронул его за плечо Сенька-молоковоз. — А нашего-то председателя какая муха укусила? С чего это он против колхоза пошел?

— Науськали да хвоста как следует накрутили, вот и пошел супротив нас и колхозу, — нарочито громко ответил дед.

— Недаром же его в район на целый день вызывали.

— Кто еще за совхоз? Прошу голосовать! — вторил Зубову Григорий Мамонович.

— Отставить голосование! Перерыв объявляется! — глянув исподлобья на притихших мужиков и баб, резко, словно выстрелил, прокричал секретарь райкома. — Прошу коммунистов оставаться, а остальным — освободить помещение!

Из избы гуськом потянулись на улицу. На скамейках осталось около десятка человек. Впереди всех, гордо расправив плечи, сидел Иван Сергеевич.

— А вы тут что делаете? — неожиданно заглянул на печку дед Фрол и ухватил меня за ногу. — Марш отсюда! Нечего тут базар слушать! Ишь, затаились, скапидары вы этакие!

Мы, виновато опустив головы, спустились с печки и вышли на мост. Там вовсю бурлили мужики.

— Кузнец-то наш, как у себя на кузне! Не побоялся, вцепился!

— Отольется ему все это!

— Да ну! Не из тех он, чтобы поддаваться!

— Ого! Веревки сейчас из партейных вить будут!

— А зря, мужики, мы весь этот сыр-бор затяли. Как бы мы ни крутились, ни вертелись, — все равно объединят.

— Как это все равно? Добровольность нужна, для того и собрали нас всех. А без нашего согласия никак не возможно...

— Все может быть, — рассудил молчавший до этого дед Михайло.

— Я думаю, напрасно мы поперек пошли. Согласиться бы с ними да и отвязаться. А то плохо может получиться...

— Еще чего?

— А того! Проньку выселенского знаете? Он, когда колхозы образовывали, тоже заартачился, не пошел вместе со всеми. Посмотрю, мол, как в общине люди жить будут. Силы, мол, у меня и без колхоза будь здоров, коровенка была, лошадка... Ушел мужик на починок, дом себе отгрожал, поле распахал, да по причине непризнания колхоза упекли мужика. В то же лето укокошили...

— Ты, Михайло, еще царя Гороха припомнни! — усмехнулся Сенька-молоковоз. — Не те ноне времена, на пушку никого не возьмешь. Это вы пугливыми были. Наган вам показали, так вы от него скопом в колхоз перли. А мы не из таких. Другие как

хотят, а мы повременим, попринглядываемся. Колхоз у нас, слава богу, самый богатый во всем сельсовете — проживем и одни. А пойдет у них дело — примкнем, нет — извини-подвинься, не дураки, чтобы сами себе петлю на шею набрасывать...

— Слыши, как воспитывают! Матом мат погоняют! Как бы, Фрол Игнатьич, рамы у тебя от такого шума не вылетели! — шутливо заметил кто-то из мужиков.

Сенька-молоковоз, чтобы лучше слышать, что там говорят на собрании, протиснулся меж галдящих мужиков и притулился к косяку. Но в это время дверь неожиданно растворилась. Первым на мост вышел раскрасневшийся Зубов.

— Собрание переносится на другую неделю, — объявил он, спускаясь по лестнице.

Следом за ним просеменил счетовод, другие, приехавшие на машинах.

Мы с Костиком проскользнули вдоль стены и тоже выскочили на улицу. Нам хотелось поглязеть на легковушки — они по нашей деревне ездили очень редко.

— Что я в обкоме буду докладывать, а? — спросил Зубов идущего следом Григория Мамоновича. — Не смог убедить? Влияние ослабил? Там и слушать этого не станут — разделяют под орех! Ты уж поработай тут, особенно со стариками. Они всю воду взбаламутили. А на кузнеца завтра же выписку подготовь и вместе с ним на бюро. Перевоспитаем, не таких на колени ставили.

— Будет сделано! — выпалил счетовод и растворил перед Зубовым дверцу машины. — Именно так, как вы говорили. А стариков уломаю, им ведь тоже иной раз лошади требуются...

Начальство уехало, а мужики еще долго не расходились. Они до самой темени галдели под нашими окнами.

— Иван Сергеевич! — весело окликнул кузнеца Сенька-молоковоз, когда тот засобирался домой. — Куда спешишь? У тебя же завтра выходной — в район повезут.

— Да пропади он пропадом с таким выходным! — скрежетнул зубами кузнец.

— А ты не робей — держи хвост пистолетом!

Вечером следующего дня Иван Сергеевич вернулся из района мрачный как туча. По деревне молнией пролетело: кузнецу строгача с занесением вкатили и «премию» десять рублей выписали за непристойное поведение.

Услыхав про это, дед Фрол сунул в карман пачку папирос и направился к Ивану Сергеевичу.

— Правда это люди говорят или попусту мелют?

— Зря не скажут, — нехотя ответил кузнец. — В общем, дали мне прикурить. Три часа выстоял перед ними, как парнишко малолетний. Билет и в самом деле чуть не отобрали. Ладно,

начальник управления из командировки вернулся, а то бы совсем труба дело. Заступился. Я ему как-то давным-давно лошадь подковывал, да и в войну чуть ли не рядышком воевали... Теперь, Фрол Игнатьич, я ни слова поперек не скажу. Будь что будет. Обуха плетьью не перешибешь.

— Ну уж ты сразу и сдался!

— А чего перечить? — равнодушно ответил кузнец. — Хоть заговорись ты, а все по-ихнему будет. Там уже все за нас решено. Собрания наши так — для отвода глаз. Колхоз все равно распустят. Счетовода сюда управляющим метят, а Евсеича нашего — в Чудиновку.

— Вот тебе новости! — удивленно протянул дед. — Во как повернули! Это как называется: без меня меня женили? Выходит, что и хорохорились мы впустую...

— Так получается, — задумчиво произнес Иван Сергеевич и замолчал.

За ужином дед Фрол, прежде чем взяться за ложку, пристально глянул на бабушку.

— Налей-ка нам с Федорком граммов по пятьдесят.

— С какой это стати?

— С большой, — кротко ответил дед. — Колхоз-то, Иван Сергеевич сказывает, все равно к ляду разгонят...

— А может, и к лучшему это? — выпалила мать.

— Сиди и не чивертай! — стукнул по столу тяжелой нержавеющей ложкой дед Фрол.

— Неужто уже все решили? — усомнился отец, услышав про роспуск колхоза.

— Да, Федорко, нас с тобою, похоже, спрашивать больше не станут... Неси, Палаша, а то на душе что-то муторно очень.

— Нечего было язык-то высовывать! Умники тоже нашлись! — заворчала бабушка, направляясь в чулан. — Вот и крути теперь усищи-то свои тараканы! Неужто в районе да глупее тебя люди сидят.

Через неделю снова пришли легковушки, и снова собирали всех в нашу избу. Собрание шло долго и шумно.

На этот раз первым на улицу выскочил Васютка Полушкин.

— Всё как хотите, — крикнул он с порога, — а я в этот со-вхоз ни за какие пироги не пойду! Вожжами не затащить!

— Тише ты, Васютка, — одернули его бабы, — а то и тебе штрафу дадут!

Против совхоза выступил снова и дед Михайло. Но говорил он в этот раз медленно и тихо. Сидящие за столом почти и не слушали его, беспрестанно перешептывались.

— Спасибо, — вежливо улыбнулся Зубов деду Михайлу, когда тот опустился на место. — Кто еще желает выступить?

Охотников больше не нашлось.

— Тогда, прежде чем приступить к процедуре голосования, предоставим слово директору совхоза товарищу Шатилову. Он, так сказать, ознакомит вас с условиями работы в большом объединенном хозяйстве...

Уезжая из деревни, Зубов похлопал по плечу счетовода.

— Не думали мы, Григорий Мамонович, что у тебя такие агитаторские способности. Старики-то сегодня как шелковые были, особо не ерепенились. Значит, не зря мы тебя назначили управляющим. Молодец!

Григорий Мамонович смущенно пожал плечами.

— Как велено было, так и поработал...

Для нас с Костиком создание совхоза казалось грандиозным событием. Мы ожидали, что уже на другой день все в нашей жизни переменится. Но все было по-прежнему. Так же мать с отцом ходили на работу, а дед Фрол копошился в своей столярке. Только вместо бывшего председателя колхоза теперь разъезжал управляющий Григорий Мамонович.

— Игнатьич, — недолго спустя обратился он к деду, — зайди-ка в контору. Вывеску надо сменить, а то перед людьмистыдно. По ней получается, что мы все еще по-старорежимному живем — в колхозе.

— Раз надо — сделаем, — нехотя согласился дед Фрол. — Сегодня, что ли?

— А чего резину тянуть, сделать да и с плеч долой! — бодро ответил управляющий. — Приходи, я весь день там буду. Отчет за декаду составить надо...

Бывшая колхозная контора была словно оторвана от деревни — стояла в самом конце прогона и в стороне от дороги. Размещалась она в неказистой избе с высоким крутым крылечком. Мы с Костиком там почти не бывали. Летом контора обычно была закрыта на большой амбарный замок — председатель колхоза и счетовод редкий день не работали вместе со всеми в поле или на сенокосных лугах.

— А чего мне штаны-то протирать, — шутил с мужиками Николай Евсеевич, когда те подтрунивали над ним: и на председателя, мол, не похож. — У нас с Мамоновичем вся бухгалтерия при себе...

После полудня дед Фрол, взвалив на плечо длинную лестницу, направился по прогону. Мы семенили следом. Я с нескрываемой гордостью нес большой острый топор, а Костику достался увесистый молоток.

— Ты далеко ли, Игнатьич? — увидев нас из огорода, спросила Фенька.

— Контору подремонтировать, — соврал дед.

Григорий Мамонович уже ожидал нас. Он в закатанной по локти рубахе стоял на верхней ступеньке крыльца и, словно ветром, размахивал новенькой восьмиклинкой.

— Такую красоту и сымать жалко, — шевельнул дед усами, глядя поверх управляющего.

Там на широком металлическом листе большими аккуратными буквами было выведено: Колхоз «Заря коммунизма». Этую надпись с обеих сторон обступали пышные кованые колосья.

— Надо же, — задумчиво сказал дед, — столько лет прошло, а колоски как вчерася сделаны. Никакая ржа не прилипла.

— Помню, помню, — закивал головой Григорий Мамонович, — как эту вывеску прилаживали. Хотя и пацаном был тогда...

— Сразу после войны Иван Сергеевич сковал. Вернулся с фронта и первым делом за это взялся. Думали, свихнулся мужик, а он, вишь, красоту какую сотворил.

— Ничего не попишишь, мастерово сделано, — согласился управляющий. — Но это уже вчерашний день. Устарело. А потому, как бы красиво ни было, сымать надо. Меня уж райковские носом в нее тыкали.

— Ну что, мужики, — хмуро глянул на нас дед, — придется убирать, коли красота такая в немилость попала.

Он поплевал на ладони, и под его запыленными кирзовыми сапогами заскрипела приставленная к стене лестница. Забравшись наверх, он со всех сторон оглядел вывеску и беспомощно развел руками.

— Гвозди тут кованые, с зазубринами: туда вошли, а обратно шиш скоро вытянешь. Гвоздодер надо. Видать, Иван Сергеевич навечно ее прибивал.

Григорий Мамонович суетливо потоптался на месте, потом сбежал домой за монтажкой.

— А ну, мужики, держите! — крикнул нам дед. — Да осторожнее!

Мы подскочили к основанию лестницы и протянули вверх руки. Дед Фрол, спустившись на несколько ступенек, подал нам только что висевшую над крыльцом вывеску. Мы боялись, что не сумеем ее удержать, но, на наше удивление, она оказалась очень легкой.

Костик, как только вывеска очутилась у нас в руках, сразу принял отвихивать от листа крайний колосок.

— Ты что, скапидар этакий, делаешь? — раздался из-под крыши грозный голос.

Мы пуганными воробьями отскочили в сторону, опасаясь, что дед тотчас же спустится с лестницы и надает нам шлепков.

— Берите, берите, — скороговоркой вполголоса сказал Григорий Мамонович. — Они уже свой срок отслужили,

больше не пригодятся. В металлом разве...

— Я вам возьму! — услышав это, пригрозил нам гвоздодером дед Фрол. — Вам только бы нарушать все! Человек в это душу свою вкладывал, а вы вирохать да разломать!

Тем временем управляющий вынес из конторы большую золоченую рамку и стал подавать ее деду.

— Побережней с ней, Игнатьич! Застекленная и покрашена только-только.

— Да уж как-нибудь постараемся, — ответил дед, принимая из его рук рамку.

Григорий Мамонович, уперев руки в бока, пристально следил за дедом, пока тот не забрался под самую крышу.

— Прочитали, чего написано? — спросил он, повернувшись к нам.

— Угу, — буркнул Костик, глядя на ярко-красные буквы.
— Третье отделение совхоза «Заря коммунизма».

— Молодец! — похвалил Костика управляющий и слегка тронул ногой лежащую на траве старую вывеску. Колосья, искусно выкованные из тонкого металла, нежно и тихо зазвенели.

— Ну как, Игнатьич, смотрится? — задрав голову, спросил он деда.

— Сойдет, — отозвался дед, спускаясь с верхотуры.

— Не то говоришь, — поправил его Григорий Мамонович.

— Очень красиво! А главное — издаля всякий заметит.

— Домой можно правиться? — спросил дед, не поднимая головы.

— Нет-нет, подожди! Пойдем-ка в контору. Я тебе еще работенки подкину. Постольярничать там необходимо.

Управляющий и дед Фрол поднялись по ступенькам в контору. Мы юркнули вслед за ними.

— Ух ты! — изумился дед Фрол, шагнув за порог. — Столов-то, столов-то! Где эстолько и взялось?

— Из райцентра сегодня доставил, — с гордостью пояснил Григорий Мамонович. — Едва выклянчил в леспромхозовском орсе. И так и сяк к ним прилажался, а они не дают ни в какую. Товарищ Зубов, спасибо ему, помог, а то бы этих столиков не видать как своих ушей, а как он позвонил — лисоньками ко мне стали: любые выбирай!

— Так это куда столько?

— В контору, — не замедлил с ответом управляющий. — Один для себя, другой — для бухгалтера... Зоотехник с агрономом да ветеринар с кассиром, — каждому по столу надо. Ну и один про запас.

— М-м-мда, — промычал дед и дотронул ладонью до крайнего стола. — Смотри-ка, так и сияют, словно зеркальные.

— Полированные, — хвастливо заметил Григорий Мамо-

нович. — Дома такие мало у кого встретишь. А я достал: не садить же всех за этот верстак, — кивнул он на стол бывшего председателя колхоза. — Полы еще покрасим, стены оклеим, и зайти сюда будет любо-дорого. Да и мало ли кто приедет — сразу поймет, что тут не шарашкина контора, а отделение совхоза...

— Так мне красить или оклеивать предлагаешь? — смерив контору взглядом, полюбопытствовал дед.

— Это и без тебя сделают. Женщинам поручу — ихняя работа. За день обтяпают все. А тебя, Игнатьич, вот чего попрошу: кабинет мне отгородить надо.

— Чего-чего? — сощурился дед.

— Кабинет, говорю, для управляющего, то бишь для меня, оборудовать надо. Я думаю, — Григорий Мамонович сделал несколько шагов вдоль стены и остановился, — заборку здесь надо глухую поставить, а с краю двери в нее врезать с нутряным замком. Три окошка, и места порядочно, — мало ли кто из района или области наедет — есть где посидеть, побеседовать, совещание какое провести. Да и планерки у нас со специалистами регулярно будут.

— А тут для всех остальных? — кивнул дед на вторую половину избы.

— Ничего. В тесноте, да не в обиде.

— Ладно, сделаю, — согласился дед и, подгоняя нас, шагнул за порог.

— Надобно побыстрее, Игнатьич, — словно спохватившись, бросил вслед деду Григорий Мамонович. — Завтра тес из первого отделения привезут, и шпарь — начинай. Да еще партторг просил столбики под окнами установить — Доску почета оформлять будем. И мачту для флага поставить, а кновязь — на дрова испилить. Кобыл-то, по чуткам, убирать будут.

— Смотри, Митька! — шепнул мне Костик, когда мы оказались за порогом. — Еще одна!

Я обернулся и сразу же увидел за дверью небольшую, но такую же золоченую рамку. Из-под стекла тускло краснело: «Управляющий третьим отделением совхоза «Заря коммунизма» Г. М. Сорокин».

Мы спустились с крылечка и бросились догонять ушедшего вперед деда. На плече он нес лестницу, а свободной рукой удерживал под мышкой снятую колхозную вывеску.

— Митька! Стой! — крикнул на бегу Костик. — Давай прокатимся!

Он остановился и показал рукою на выходящую из леса дорогу. Оттуда доносились приглушенные голоса, перестук тележных колес. Деревенские мужики и бабы возвращались с

Михайловой гривы. Шел третий день сенокоса...

П это пролетело быстро. Нагрянул сентябрь. Костик в первый школьный день не уставал хвастаться. Он выходил на крыльцо и, по-взрослому положив руки на бедра, важно заявлял:

— Теперь наша деревня отсюдова видна стала! Вот так-то!

— Чего врешь? — упрекали его мальчишки.

— Давай поспорим! — возбужденно заявлял Костик. —

Смотри, вона флаг выставляется! Видишь?

Получив утвердительный ответ, он с гордостью добавлял:

— Это дед наш такую высокую елку нашел. Из всего леса выбирал.

— Подумаешь! — глянул на него свысока Мишка Пинюгин из четвертого класса. — Нашел чем хвастаться! А я в воскресенье весь день с дядей Семеном на машине проездил. Маслобойка теперь не работает, разобрали ее, так он молоко, знаешь, как далеко возит. Туда полдня ехали, и обратно полдня. В одном месте засели, так двумя тракторами молоковозку вытаскивали. Даже в кабину вода заливалась, как по озеру, плыли. Он и в это воскресенье меня возьмет — мало ли где забуксует, а кругом никого нету.

— Ты вытаскивать, что ли, будешь? — с завистливой улыбкой спросил Костик.

— Сказанул тоже! — важно проговорил племянник Сеньки-молоковоза. — Пока дядя Семен за трактором ходит, я машину сторожить буду, чтобы не украли. Там всякие ездят...

С наступлением зимы в нашем доме каждый вечер и почти до самого утра картечничали мужики. Захаживал и Григорий Мамонович. Зайдя в избу, он старательно отряхивал у порога шапку, неторопливо раздевался и присаживался к столу.

— Ну, Игнатьич, — шурился он на деда, — каков на сей день счет промеж тобой и мною?

Не дожидаясь ответа, он доставал из-за пазухи пухлую записную книжицу в красном переплете и начинал перелистывать:

— Счас, счас посмотрим, скоко мы тебе в эту декаду козликов влящили. Во, нашел! Семь на той неделе да пять на этой...

— Что-то маловато по твоему отчету, — усмехался дед.

— Так это только сухих, а остальные я уже и в счет не беру. Коли записывать, так книжки не хватит. А она у меня, так сказать, именная, на партконференции дали вместе с ручкой. Так что экономить листочки в ней надо... Ну сколько сегодня сюда сухих козликов вписать?

— Не загадывай! — остановил его дед Фрол. — Да своих-

то тоже записывай...

Но обычно раньше всех заходил к нам приехавший в деревню зоотехник Семен Хрупалов. Бабушка Пелагея, услыхав о его приезде, в первые дни места себе не находила — беспокоилась, волновалась: как бы Настинку у дяди Миши не отобрал. Но, когда высмотрела Семена, тревога от ее сердца враз отшла.

— На этого парня, пожалуй, ни одна девка не позарится, а уж Настинка и подавно!



Зоотехнику было лет двадцать пять-двадцать семь, но из-за маленького роста он был похож на школьника-старшеклассника. Его скуластое лицо было густо усеяно веснушками и оттого казалось желтоватым и нездоровым.

— Пора бы и начинать уже, — упрекал он мужиков, когда те долго не приходили.

— Так они еще бабам своим устряпываться помогают, — поясняла ему бабушка Пелагея. — Хозяйствами все живут. Это ведь только у тебя, Семен Алексеевич, ни кола ни двора.

— У меня-то? — таращил на нее глаза зоотехник. — Да у меня скотины не одна сотня голов! Все отделение на мне виснет, и хоть бы хны! Сегодня тридцатое, а я уже вчера за итог месяца отчитался. Все чики-брики! А потому, — усмехнулся он, — мужики ваши — шляпы. Отчитались бы заранее перед бабами, что

все сделано, — и в картишки резаться. Главное что ноне? Работу свою вовремя уметь показать, отчитаться.

— Балалайка ты бесструнная, Семен Алексеевич! Учился многому, а такое балаболишь, — упрекнула его бабушка.

— Э-э-э! — грозя пальцем, зоотехник рассыпался в смехе.

— Не мною, но умно сказано: хочешь жить — умей вертеться!

— Вот ты и вертишься. С Настинкиным двором что делать думаете? — перешла бабушка на серьезный лад. — Мотри, греха не оберетесь, ежели упадет — сколь скотины нарушит...

— Телятник, что ли?

— Он самый... При колхозе намечали новый построить, а теперь чего? Неужто забыли? А ведь там простенки вываливаются...

— Не по адресу, не по адресу, тетка Пелагея, обращаетесь, — фыркнул зоотехник. — По строительной части у нас другие заведуют. Там в центральной совхозной конторе техники-строители есть во главе с инженером. К ним надо обращаться... Мое дело тут сторона. Я большей частью за надои да привесы отвечаю — это сейчас самое главное. А насчет двора Мамоновича надо теребить, а он пусть на строителей или на самого директора выходит, а те выше... Вот так-то, бабка Пелагея! Я тут не пришёл кобыле хвост.

— Да лешой вас разберет, кто теперича к какому месту приставлен, того спроси — «не знаю», другого — то же самое. Перепехивают друг на дружку — вот и вся, видать, работа...

В этот день в самом разгаре игры к нам снова забежала Настинка.

— Здорово живем, картежники! — приветливо кивнула она мужикам.

— Садись, на пару сыграем! — пригласил ее зоотехник, склонясь прокуренными желтыми зубами и похлопывая ладонью по скамейке.

— Спасибо! Ты бы на телятник почаше заглядывал, а не в картишки играл. Ведь задавит нас с Серафимой, — отвечала ему Настинка и проходила на кухню.

— Здравствуй, тетка Пелагея. От Миши вам не было письмца?

— Давненько уже ни ответа ни привета, — с досадою сощурившись бабушка. — Видать, вовсе забыл нас сынок.

— А меня снова почтальонка порадовала! — восторженно выпалила Настинка. — Письмо от него принесла.

— Ну-ка, читай, девка, читай! Чего-от нам-то не пишет? — засуетилась бабушка и отложила в сторону прялку. Мы, проплышиав про письмо, стремглав сиганули с печки.

— Что-то уж больно скучно написал. Поди, ты, девка, через слово читала? — с сомнением проговорила бабушка, когда На-

стинка положила письмо обратно в конверт.

— Все, тетка Пелагея! Ей-богу, все! — заливисто засмеялась Настинка. — Может, времени у него не хватило, а может, снова полы целыми днями моет и картошку чистит за самоволку. Помнишь, тогда писал?

Мы вместе с Настинкой захихикали, но бабушка тут же одернула нас, замахнулась веретеном.

— Тише вы, сверчки! А то дед прознает о Мишкиных проделках — целый конверт матюков ему наложит. И ты, Настинка, держи язык за зубами, не сказывай ему.

Мы согласно кивнули, мол, не продадим дядю Мишу, и, забравшись на полати, стали сырчами глазеть на шумных игроков.

— Козырем, да покрупнее, лупи! — кричал, ерзая на скамейке, зоотехник.

— Они у вас были, да сплыли! — подхватывал дед Фрол. — Ни одной вашей взятки не будет!

Из нашей половины избы вышла мать и, посмотрев на вошедших в азарт картежников, скрылась на кухне. Бабушка Пелагея выставила на стол стаканы, принесла с раскаленной за вечер маленькой печки зеленый эмалированный чайник и, продолжая разговаривать с Настинкой, принялась крошить тисочками желтоватый ком сахара. Сквозь табачный дым к нам стал пробиваться запах заваренной мяты...

Yже вовсю пригревало. Днями, словно радуясь приходу тепла, слезились крыши, а к вечеру стихала капель, и на небе высypались яркие мерцающие звезды.

Мужики уже забросили свое зимнее занятие — не картежничали.

По вечерам дед Фрол рано закрывал на засов двери, не ожидая беседников.

— Воров, что ли, боишься? — подшучивал над ним наш отец.

— Воров не воров, а сейчас не время по беседкам шататься, — рассудительно отвечал дед. — Отсыпаться надо — потом никогда будет. Снег-то вона как гонит...

Но в тот вечер, едва дед запер крыльцо, в дверь постучали.

— Кого это там принесло? — проворчал он, поднимаясь из-за стола.

— Иди быстрей! — шикнула на него бабушка Пелагея. — Настинка, наверное...

— Николай Евсеевич! — удивленно всплеснул руками дед Фрол, увидев на пороге бывшего председателя колхоза. — Мы уж, грешным делом, думали, что ты обиду какую на нас затаил: не зайдешь, не заедешь. Ну проходи, проходи!

— Далековато я от вас теперича, да и здоровыицко что-то подводить стало — из больницы только-только выписали. Больше месяца вылежал, — пояснил Николай Евсеевич, заходя в избу.

Он поздоровался со всеми — даже нам с Костиком руки пожал — и присел на дедов скрипучий диван.

— К столу, к столу присаживайся! — подхватил его под локоть дед Фрол. — А ты, Пелагея, поскреби-ка там по сусекам, найди нам что-нибудь.

— Нет-нет, — возразил Николай Евсеевич. — Не время, да и врачи категорически запретили. И, кроме того, я же не просто так приехал, а по делу... И притом по очень серьезному: свататься.

— За старуху мою, что ли? — весело усмехнулся дед.

— За Федора.

— Как за Федора?

— Хочу ему работу хорошую предложить, — начал Николай Евсеевич, поглядывая на двери, ведущие в нашу половину избы. — Картошку выращивать. С директором долго столкновился, но таки уломал — согласился. А где он?

— Кто? Федорко?

— Да.

— Сейчас токо здесь сидели, к себе ушли. Сено сегодня из-за Михайловой гривы возил, устал, говорит, спасу нет...

— А ну-ка, — глянул на меня Николай Евсеевич, — позови их обоих.

— По какому такому поводу? — приветливо улыбнулся отец, здороваясь с бывшим колхозным председателем.

— А век не догадаться.

— Предложить тебе что-то хочет, — начал было пояснять дед Фрол, но гость не дал ему договорить.

— Я тебе, Федор, как управляющий первого отделения, — глядя отцу в глаза, медленно начал Николай Евсеевич, — хочу работу особенную предложить.

— Какую? — недоуменно протянул отец.

— Ты слушай пока и не перебивай! — пригрозил ему пальцем управляющий. — Даём тебе пятнадцать гектаров земли под картошку. Сам навозом занимаешься, пашешь, садишь и копаешь. Словом, как у себя на огороде. Каждый месяц тебе по девяносто рублей платить будут...

— И зимой, и летом? — удивленно спросила бабушка.

— Круглый год, — утвердительно ответил Николай Евсеевич. — А ежели все нормально получится, то в конце года еще и доплата будет. Все от картошки зависит, от того, сколь накопашь...

— Что-то новое, — изумился отец.

— Такого еще, верно говоришь, не бывало. Вот и хотим

попробовать. А то один пашет, другой садит, а третий копает, и все кое-как. Картошка с горох вырастает, да и та по осени наполовину в земле остается. Директор, хоть и не сразу, а согласился со мной на такое дело, чтобы всю картошку в одни руки отдать. А вот бухгалтерия с экономистами долго резину тянули, но таки за мной верх оказался. Ну как, Федор, пойдешь?

— Заманчиво, — почесывая за ухом и поглядывая на деда, ответил отец. — Только, знаешь, Евсеич, один в поле не воин, как бы с этим делом впросак не попасть. Свой-то огород всей ватагой по несколько ден управляем, а тут — поле целое. Одному непосильно, пожалуй, будет.

— А почему это одному? Удобришь, вспашешь, посадишь, а копать направим помощников — учеников, колхозников... Эх, черт возьми, отвыкнуть никак не могу — рабочих совхоза. Свои же ребятишки помогут. Ты только командуй да фронт работ обеспечивай...

— Если и так, то все одно надо подумать. С кондакча такие дела не решаются.

— А ты, Федор, думай, — уважительно глянула на отца бабушка Пелагея. — Хоть оно и трудно, но ведь девяносто рублей в месяц — такие денежки на дороге не валяются! Ежели не проманут, конечно. Зоотехник, Настинка сказывала, и то на пятерку меньше получает. Митька! Ну-ко сосчитай — сколько это за год выйдет?

— Тысяча восемьсот! — почти не задумываясь, выпалил я.

— Плохо считаешь! — с усмешкой поправил меня управляющий. — Тысяча восемьдесят.

— Все равно больше тысячи! — отмахнулась бабушка. — На такие деньги две коровы можно купить.

— Ты только о деньгах и думаешь! — хмуро посмотрел на нее дед Фрол. — О деле надо кумекать.

— Митька! — прошептал мне на ухо Костик. — А на девяносто рублей велосипед можно купить?

— Не один, а целых два, — так же тихо проговорил я. — С фарами и динамкой.

Брат от удивления вытаращил глазенки и тихонько присвистнул.

— А вдруг силенок все-таки не прохватит, не получится ничего из этой затеи? — рассудительно говорил отец.

— А мы, папка, поможем! — вдруг ни с того ни с сего выпал Костик.

— Слушай, Федор, чего тебе младший говорит! — расплылся в улыбке Николай Евсеевич. — Волков бояться — в лес неходить. А я тебя знаю, будет у тебя толк. Поэтому и не предлагал покуда никому другому... Избу в Чудиновке купите — не всю же жизнь тебе в приемках ходить.

При слове «приемок» отец нахмурил брови. Он не любил, когда его так называли. Однажды во время игры в карты он с кулаками набросился из-за этого на Григория Мамоновича. Ладно, дед успел руку перехватить, а то бы попало счетоводу.

— Дашка Микулиха, — неторопливо продолжал управляющий, — к сыну в город перебирается. Дом, сказывала, продасть будет. Недорого просит — сам узнавал. Сотен за семь-восемь отдаст. А ежели еще поторговаться — рублей пятьдесят-тридцать скинет. Зачем деньги лишние тратить, да и ей много некуда — сын-то у нее мужик ушлый, все равно все к своим рукам приберет.

— Никуда они не поедут! — видя, что разговор принимает такой оборот, круто заявила бабушка Пелагея. — Пока мы живы, пусть с нами будут. А то люди что скажут: Палашка Фролиха зятя из избы вытурила? Не лишние! Места, слава богу, всем хватает.

— Не стрекочи! — остановил ее дед. — «Люди, люди...» Тут своей мозгой шевелить надо. А языки — они без костей, намеляют, чего хочешь, только уши развесивай. Мы, Николай Евсеич, не будем рубить с плеча, подумаем с Федорком день-другой, дом Дашкин посмотрим — стоит ли он таких денег... А потом уж и ответим тебе, скажем что и как. Только картошечку, Евсеич, не отсуливай покуда никому. Дело заманчивое.

— Вы как хотите, а ребятишек я никуда не отпущу! — наотрез заявила бабушка, когда Николай Евсеевич, попрощавшись со всеми, вышел из избы.

— Ты бы, Палашка, поменьше в наши мужские дела нос совала, а то в каждой кадке затычка, — заворчал на нее дед Фрол. — «Не отпушу, не отпушу», а дело-то стоящее предлагают. И не кому-нибудь, а нашему Федорку. И кто? Сам Николай Евсеич. А он мужик сурьезный, толковый, глядишь, и Федорко из-за него на почете будет. Соглашаться, думаю, надо. Да и о Мишке подумай. Летом вернется, куда они с Настиной пойдут? Дом большой, но, как ни крути, на три берлоги не разделишь! Мы с тобой ладно, а они молодые... Стеснение получится. Да и эти сорванцы подрастают. Так что, ежели с Дашкиным домом никакой промашки не выйдет, — покупать надо. И дом, и деньги у Федора будут. Да и Евсеич-то не чета нашему Мамоновичу. У него и в колхозе работалось всем, никто не хитрил, не отлынивал, а у этого одни бумажки да отчеты на уме... А с сенокосами, ишь, как летом крутил — то даст, то не даст сено-косить. Был бы я помоложе, сам бы к Евсеичу переехал. Слыпал, хвалят его тамошние мужики. В ладу с ними живет.

На другой день, заткнув за пояс топоры, отец с дедом направились в Чудиновку.

— А чего, Пелагея, — бодро заговорил дед, вернувшись

обратно, — дом куда хошь! Все углы топорами простукали — ядрены, будто репа. И фундамент каменный. На цементном растворе замешан. С головой и руками, видать, мужик у нее был. А огород, пожалуй, поболе нашего будет.

Народ в деревне дружней, чем у нас. Набежали сразу, ознакомились. Зовут туда Федорка, значит, и им по душе он пришелся. И еще, — дед многозначительно поднял вверх указательный палец, — там учитель живет.

— Стало быть, уедут от нас? — с тоскою в глазах тихо спросила бабушка.

— А чего избу такую да деньги из рук выпускать!

— Что ж, пусть едут, — шумно вздохнула бабушка Пелагея. — Внуков жалею, да и нам без них будет тоскливо.

— Тут не так уж и далеко — прямушками верст семь-восьмь будет. Тропку им покажу — и прибегут когда-то. А Мишка придет — с новыми нянчиться будешь. Коли в отца пойдет — не задолит...

— Дай-то бы бог!

Чудиновка была небольшой деревушкой и вовсе не походила на ту, в которой мы жили под одной крышей с бабушкой и дедом. Ее шесть домов были будто нечаянно обронены на обоих берегах маленькой речушки с красивым и звучным названием — Журавка. Но зато к Чудиновке со всех четырех окраин подходили дороги, а за деревней притулилась к лесу длинная пилорама.

— Как обживаетесь? — не вытерпела, навестила нас через несколько дней бабушка Пелагея.

— Да ничего, обвыкаемся помаленьку, — бодро ответила мать. — Телятник теперь близко — из окошка видать.



И крепок еще, не чета прежнему. А Федор, — усмехнулась она, — помешался на этой картошке, ни единого дня не пропускает — навоз на поле возит.

— Не потопаешь, так и не полопаешь. Правильно он делает, денежки задарма нигде не даются, — с одобрением отзовалась бабушка. — А хоромы-то и в самом деле большие...

— И баня есть, и амбарчик. Колодец в предбаннике — снегом не занесет, — пояснила мать. — Двор для скотины большущий, хоть три коровы держи, — места хватит. Пол, правда, плоховат, поизгнил, но Федор говорит, что к лету подлатает.

Бабушка Пелагея, словно не веря словам матери, обошла избу кругом, заглянула во двор, в баню, проверила, глубоко ли в колодце вода, протиснулась в узкие двери под мост, где обживались привезенные от нее курицы.

— Успокоилась, слава богу, — закончив осмотр, присела она на скамейку. — Теперь вижу, что не зря семь сотен отдали. Хозяйка, пожалуй, продешевила, и больше за такую избу отдать не грешно. А Федор-то молодец — вон какие наседала для курочек сделал, гнездышки... Пол во дворе пусть перестилает, коровку заведете — без ног останется... А с соседями как? — переменила разговор бабушка.

— Познакомились, — пожала плечами мать. — Их всего-то — десятка не будет.

— Надо бы, девка, в гости их пригласить. Ведь как вы к ним, так и они к вам. Не чужайтесь, в ладу с ними живите. Покуда огороды не подошли, вечерок соберите, — пригласите всех до единого. Без этого, Симка, нельзя. От людей нехорошо...

— Да надо бы — руки вот все не доходят, — согласилась мать.

— Собирайте, собирайте, и раздумывать нечего, — настойчиво повторила бабушка. — Скажут люди, что жомы приехали. Самогонки я выкурю, на водку нечего деньги переводить. Для начала только на стол выставиши, а потом и свойское пойдет. Лучше ребятишкам на эти деньги чего-нибудь купите...

— Велосипед! — выкрикнул Костик. — С фарой и динамкой!

— Может, и велосипед, — обернулась на него бабушка. — Учителя не забудьте приветить. Не угощение дорого, а приглашение. А уж придет не придет — его дело.

— Мам, а велосипед? — снова высунулся Костик.

— Корову купим, тогда и о велосипеде подумаем, — как от назойливой мухи, отмахнулась от него мать.

Новоселье решили справлять в воскресенье. За два дня до этого мы обошли всю деревню, зазывая соседей в гости.

— А Трофим Феофанович как вам ответил? — поинтересовалась мать, когда мы пришли от учителя.

— А ничего! — бойко ответил Костик. — Спасибо, говорит. А тетя Глаша конфетами угостила, целую пригоршню вынесла.

— Не тетя Глаша, а Глафира Ивановна, — поправила его мать. — Люди они не простые — интеллигентные, по имени-отчеству величать надо. Как бы не опростоволоситься перед ними! Вдруг им чего у нас не понравится?

В день праздника мать подняла нас раным-рано:

— Садитесь завтракать и к бабушке направляйтесь! Обратно с ними придете. Пироги поможете принести, еще чего-нибудь...

Деда Фрола мы увидели издалека. Он с охапкой дров неторопливо шел к бане.

— Париться, дедушка, собираешься? — первым подскочил к нему Костик.

— Ух ты, скапидар этакий, напугал-то как! — вздрогнув от неожиданности, отозвался дед. — Так и от ума можно отствовать. Отколя вы такие шумные появились?

— За пирогами пришли!

Услышав наши голоса, из предбанника высунулась бабушка. Ее поседевшие редкие волосы были перехвачены старой выцветшей косынкой, а с костлявой жилистой руки свисали рваные куски серого теста. Мы с Костиком сразу сообразили: самогонку гнать будут.

В доме бабушка угостила нас горячими румяными пирогами. Но самые красивые и пышные отложила в сторону.

— Эти к вам на новоселье понесем.

— Бабушка, а от дяди Миши письма не было? Когда он приедет? — запивая пироги молоком, полюбопытствовал я.

— Приходило намедне, — хмуро ответила бабушка. — Совсем, видать, ваш Мишка от рук отился. Мы его домой ждем не дождемся, а он, будь он неладен, жениться там собирается. Кралю какую-то городскую нашел. Там и жить собирается. И Настинке это же написал, вчера вся заревленная прибегала. И я-то с ней наревелась вволюшку... Дед ему целый день письмо составлял, может, и образумится еще...

Над баней уже струился чуть заметный сизый дымок.

— Ну что, сорванцы, пробу сымать будете? — подмигнул нам дед Фрол, вернувшись из бани. — Палаша, подай-ка стопочку на ножке! Отведаю, как оно у нас получилось.

— Нальешь зенки раньше времени, — заворчала на него бабушка. — Как в гости пойдешь? И Симку, и Федора опозоришь!

— Да я малость самую! Только лизну!

Дед поднес стопку к губам и сразу же захлопал ладонью по груди.

— Ох и крепка! Значит, у Федорка все чередом пойдет! Так я загадывал. Похлеще спирта, пожалуй, будет.

Он оторвал от газеты узкую полоску, окунул ее в стопку и чиркнул спичкой. Над бумагой взвилось еле приметное голубоватое пламя.

— Градусов пятьдесят-шестьдесят, как пить дать, будет, — обрадованно заключил дед. — Давненько у нас такой не получалось.

— Фрол! Фрол! — раздался с кухни бабушкин голос. Был он громким, испуганным.

— Чего кричишь, как в лесу! — откликнулся дед и быстро, чтобы не заметила бабушка, хватанул разом оставшуюся в стопке самогонку. — Мыши, что ли, напали?

— Иди-ка сюда! — таким же неузнаваемо дрожащим голосом позвала бабушка. — Не участковый ли по-за огороду на мериине едет?

— Опять не слава богу, — сердито заворчал дед. — Он, конечно. Тарантас-то евонный, с закрылками...

— Может, загасить успеешь?

— Где, к лешаку, успеешь? Да и он не дурак — издали видно, что баня курится.

— Ой, что будет? Что будет? — запричитала бабушка.

— Перестань ныть, скапидар этакий! Что будет, то и будет! Не я ли тебе говорил: ночью, ночью гнать надо было! А ты все свое... Вот теперь и расхлебывайся... — заходил по избе дед.

— А может, объяснишь ему, что, мол, дочке на новоселье решили маленько. Авось смилостится, — охала и вздыхала бабушка.

— Того и жди! Смилостится! Ему-то какая разница, что на новоселье, что на поминки, — один ляд супротив закону.

— Ой, чего будет? Люди-то чего скажут? — не умолкала бабушка.

— Прижми зад и сиди! Увидишь, чего будет. Придет и скажет.

— Хоть бы не унюхал да не заметил... Авось пронесет, — с искоркой надежды проговорила бабушка.

— Ага! Жди да радуйся! Слепой он, что ли? Да и нюх у него на это дело должен быть особыливый... Мотри, мотри — не заметил: мерина уже к бане прихомуется.

Мы с Костиком прилипли к окну.

Милиционер привязал лошадь к столбенку и, пройдя через калитку, нырнул в задымленный предбанник.

— Связались мы с этой самогонкой на свою шею, — снова заворчал дед. — Водки надо было набрать, не обеднели бы...

— Ты еще скажи: спирту! По пять рублей за поллитровку... Богач экий нашелся! Раскидаешься деньгами и на похороны себе

не оставиши! Мишке свадьбу на какие шиши справлять будешь?
А Симке корову покупать?

— Денег пожалела! А теперь что? Штрафу выпишут или принудиловки на старости годов дадут, — забубнил дед, присаживаясь на скамейку. — А о Мишке твоем я и говорить не хочу! Выходила, вынянчила олуха царя небесного... Я ему на свадьбу, коли он так повернет, копейки расколотой не дам!

— Чего уселся! — не попускалась бабушка. — Делать чего-то надо.

— И этого хватит! Наделали себе славы на всю вселенную.

— Да сходи же к нему!

— Сам придет! — рявкнул дед и отвернулся.

Он, покручивая усы, смотрел в сторону бани. Там около тычинника одиноко стояла запряженная в тарантас лошадь, а над крышей по-прежнему вился хилый дымок. Участкового не было. Он, зайдя в предбанник, словно сквозь землю провалился. Наконец, терпение деда лопнуло.

— Ох, скапидар этакий, была не была! — с досадой выпалил он. — Пойду проведаю. Будь что будет!

Мы с Костиком напряженно глядели в окошко, а позади нас, вспомина бога и всех святых, крестилась и горестно вздыхала бабушка.

Дед Фрол по огороду шел медленно, низко наклоня облысевшую голову. Подойдя к бане, он робко потоптался на месте, потом решительно шагнул в предбанник. Немного погодя дед появился на улице вместе с участковым. Он вел милиционера под руки. Голова участкового моталась с плеча на другое, а ноги подкашивались, были словно ватные, как у висевшей под князьком куклы.

— Бабушка! Бабушка! — не своим голосом заверещал Костик. — Милиционер-то пьяный! Он, наверное, всю вашу самогонку выпил и нам не оставил.

Бабушка Пелагея, словно ужаленная, опрометью выскочила на улицу, и они вместе с дедом завели участкового в избу. Он, немного побормотав что-то невнятное, захрапел на нерасправлённой дедовой кровати.

— Чего там? — вполголоса спросила бабушка.

— Т-с-с! Все чередом, — так же тихо отозвался дед.

— Митька, смотри! — скалясь, пролепетал Костик, показывая на спящего милиционера.

У того по губам ползала большая иссиня-черная муха.

— Кыш, зараза! — взмахнула платком бабушка. — Налетело вас, нечистей.

— Гони этих, — кивнул на нас дед Фрол. — Да сама тутшибко не хропай ничем, не шебурши. Разбудите еще раньше времени.

Мы, подгоняемые дедом, проскользнули на цыпочках за двери.

— Фрол, поди, лошадь-то у него некормленая стоит? — донесся до нас приглушенный бабушкин голос.

— Сена мерину унесите! — поймав нас на улице, скомандовал дед, а сам с полными ведрами холодной колодезной воды направился к бане.

Мы унесли с повети по охапке сена. Мерин ел жадно, с хрустом.

— Что, застоялся, милый? На-ко, попей водицы! — подошел с ведрами дед.

— А с баней чего будем делать? — спросила бабушка, выйдя в огород.

— Как чего. Я уже по новой дров набросал и воду сменил...

— А милиционер?

— Покуда спит — всю барду перегоним. Не пропадать же ей, да и один ляд попались. Только самогонку упрячь подальше, вдруг пойдет с обыском...

Участковый проснулся только под вечер.

— Так-так, Фрол Игнатьич, — поправляя сморщившийся китель, заговорил милиционер, — противозаконные действия, значит, проявляете? Самогоночкой увлекаетесь?

— Да я в первый раз затворил и то не слава богу.

— Ну до чего же смешно получается! — искривив толстые, мясистые губы, рассмеялся милиционер. — Кого ни поймаю — все в первый раз затворили. Да не пугайся ты, я это так, к слову, говорю. А самогонка у тебя славная получилась. Крепка! И попробовал-то совсем ничего, а смотри, как обашмурило. Не помню, как и избу пришел...

— Да мы, ей-богу, никогда самогонки не гнали, — расклянялась перед участковым бабушка. — Дочке на новоселье немножко хотели...

— Ладно, — строго проговорил милиционер, — если на такое дело, можно простить. А голова-то болит, ох как болит, — подмигнул он деду.

— Счас, счас, — поняв намек, суетливо ответил дед. — Ну-ка, Палаша, пошукай по сусекам.

Бабушка мышкой юркнула за двери и тотчас же вернулась со стаканом самогонки.

— А закусить чем? — глянул на нее дед. — Вот непонятливая!

Она снова скрылась на кухне и вынесла из подполья шмат сочного соленого сала. Дед отрезал от него несколько тонких розоватых, с прожилками, ломтиков и положил на тарелку.

— А себе? — показывая на стакан, спросил участковый.

— Отпил, видать, я свое, — не задумываясь, соврал дед, — сердечко стало пошаливать.

— Ну-ну.

Милиционер выпил и уставился на бабушку.

— А если все по букве закона, то вас под суд можно отдать.

Но...

— Да ты, родненький, прости нас, — жалобно начала упрашивать его бабушка. — Для дела же мы, сам говорил, да и впервый...

— Так и быть — ничего оформлять не буду. Но впредь зарубите на носу, что если кто на вас мне бумагу подбросит, тут уж никуда не денетесь! Тогда по всей строгости законности меры приму.

— Спасибо тебе, спасибо! — снова раскланялась перед ним бабушка. — А мы и лошадку твою накормили-напоили, покуда вы тут отдыхали от дорожной усталости. Ну-ко, помотайся по всему сельсовету да по таким-то ухабам.

— Мы, Сергей Александрович, больше не будем, — словно провинившийся ученик, заверил милиционера дед Фрол.

— Главное-то не в этом, куда важнее, чтоб не стукнул кто, не пожаловался. А все-таки хороша у вас самогоночка! Много ли накапало?

— Кой ляд много! До того перепугались, что всю барду мимо выплеснули. Литрик-другой, а то, сами понимаете, дело подсудное...

— Ну это вы зря сделали! Зачем было выливать? Может, найдете для меня на дорожку. Покровительствую, выходит, а за это, коли разузнают, мне тоже спасибо не скажут.

Глаза у бабушки мгновенно забегали . Она смотрела то на участкового, то на деда, то озиралась на кухню.

— Как это в таком случае не найдем, — бодро промолвил дед, — обязательно и в знак благодарности, за проявление жалости к нашему брату. Неси, Палаша!

Бабушка Пелагея бойко спустилась в подполье и вынесла оттуда ту самую четверть, в которой была вода на последнем колхозном собрании. В ней доверху была налита мутноватая самогонка.

— Посудину только жалко, — вялым голосом проговорила бабушка. — Может, вернешь потом, Александрович? Стариная она. От маменьки-покоенки мне досталась...

— Куда она денется! — принимая из ее рук четверть, бодро заверил участковый. — Сейчас же верну! У меня в тарантасе своя емкость имеется. Гавриков этих, — кивнул он в нашу сторону, — посыпайте со мной, обратно принесут .

Милиционер, громыхая тяжелыми кирзовыми сапогами, шагнул за порог.

— Бегите за ним! Не отставайте! — кышкнула бабушка. — А то без бытули останемся, увезет, окаянный!

Мы кинулись вслед за ним. Он, не признавая уже вытаивающей тропинки, властно шагал по огороду. Спрятанную под полами кителя бутыль милиционер придерживал обеими руками.

— Хотите, на Красавчике прокачу, — предложил он, подойдя к тарантасу.

— У нас свои лошади есть, — с независимым видом ответил Костик.

— Как хотите! Было бы предложено.

Участковый потрепал мерина по длинной спутанной гриве, ласково приговорил:

— Настоялся, брат. Ну ничего, ничего. Служба, брат, у нас такая... Сейчас дальше поедем.

Он скинул с передка тарантаса обляпанный свежей весеннею грязью брезентовый плащ и вынул оттуда деревянную кадушку с расписанными боками:

— Ну-ка, посмотрим, что мы имеем на сегодняшнее число?

Милиционер потряс кадушку, в ней глухо забулькало. Деревянная четырехугольная пробка долго не поддавалась. Он раскачивал ее из стороны в сторону и громко матерился. Открыв кадушку, участковый поставил ее на землю и сделал несколько глотков из бабушкиной бутыли.

— Эта пока самая крепкая! Остальная — дерньмо по сравнению с этой. Только, — глянул он на меня, — скопидом твой дед. Я его, можно сказать, от правосудия спас, а он пожалел — зашилил. Ну ничего, я на обратном пути к нему снова заеду, если эта, — он ткнул носком сапога в кадушку, — неполная будет.

Закончив говорить, он подмигнул нам и хило улыбнулся. Затем участковый взял в руки бутыль с самогонкой и стал переливать ее в кадушку. В опрокинутой вверх дном бутыли клокотало и булькало, самогонка, словно кипя, быстро убывала.

— Забирайте свою посудину! — весело проговорил он, давая нам опорожненную бутыль.

Кадушку милиционер снова задвинул в передок и, укрыв ее брезентом, уселся в тарантас. Настоявшийся за день мерин рысью взял с места.

Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра...

— сквозь перестук и скрип тележных колес доносился до нас хрипловатый голос милиционера.

— Ну вот, а ты боялась! — с усмешкой глянул на бабушку дед Фрол. — Не зря говорили, что участковый куда хощь мужик! Не его, значит, бояться надо — людей.

— А он ведь никуда не уехал! — радостно и возбужденно сообщил вернувшийся с улицы Костик.

— Как не уехал? — передернул усами дед.

— У Васютки-конюха остановился.

— Ух ты! — дед шлепнул ладонью по голове. — У него же тоже затворено было! Братана в отпуск поджидает, вот-вот должен подкатить. Значит, и его участковый изловил. Ловко у него сегодня выходит, так, глядишь, и кадушки не хватит — мала будет.

— Пойдем со мной, — шепнул мне Костик.

— Куда?

— Посмотрим, сколько милиционеру самогонки дадут...

— Некогда шататься! — услышав наш разговор, строго предупредила бабушка. — К вам пора правиться, а то приедем к шапочному разбору.

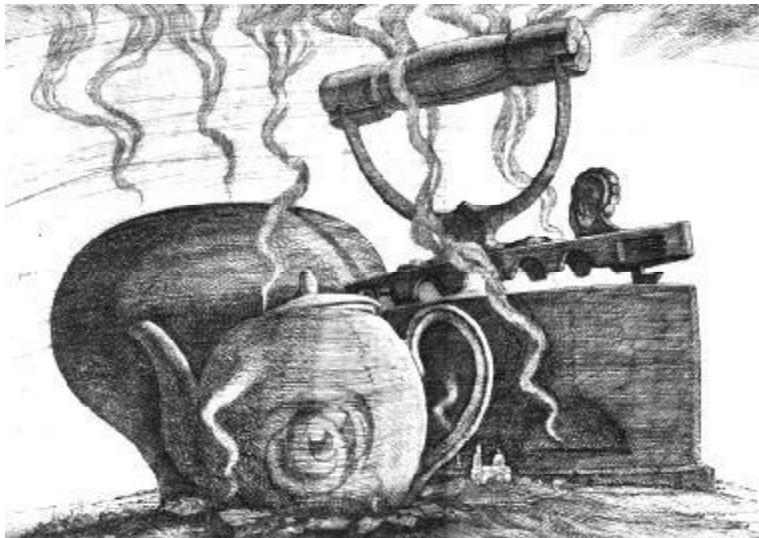
Домой мы пришли, когда солнце начало скрадываться за частоколом леса. Вскоре стали подходить гости. Первым пришел, высокий и стройный, учитель Трофим Феофанович.

Учитель, зайдя в избу, отвесил едва заметный поклон и, вынув из-за пазухи что-то завернутое в газету, подал отцу.

— Это, Федор, на новоселье. С пустыми руками не ходят.

Его жена Глафира Ивановна — низкая пухленькая женщина с искристыми стреляющими глазками — сразу же прошла к столу и выложила на стол большой румяный пирог.

— Надо же, как Трофиму Феофановичу повезло! Все ничего да ничего, а к вашему новоселью ох какой налимище в нар-



ту попался! Счастливые вы, видать, люди!

Потом появились Томилины. Плотный и коренастый пчеловод Егор Васильевич снял у порога белую заячью шапку, по здоровался и спросил у отца:

— Где ваши хлопцы?

— Вона, — кивнул отец на полати, — как курочки на седала, забрались!

— Идите-ка сюда! — увидев нас с Костиком, громко привгласил гость.

Брат спустился к Егору Васильевичу и вернулся на полати с пол-литровой банкой меда.

— Ешьте на здоровье! — приветливо кивнула снизу его жена.

Следом за Томилинами появился в дверях конюх Прокоп Захарович вместе с женой и белобрысым Петькой — моим одноклассником.

— Хозяева дорогие, нести у меня нечего, кроме этого, — раскланялся он и, не раздеваясь, прошел на средину избы, поставил на стол закупоренную сургучом бутылку водки. — Не обессудьте!.. Вот забытеха! — спохватился Прокоп Захарович, отойдя от стола. — А самое главное и забыл. Гармошку! Какое без нее веселье-новоселье! Покуда то да се — сбегаю.

Пока конюх ходил за гармошкой, пришла сутуловатая стаrushка Настасья Семеновна, потом Шурка Толстоброва, живущая с нами по соседству. Шурка, войдя в избу, пропустила вперед свою дочку Нинку Стрекозу, учившуюся в третьем классе, а сама юркнула на кухню, о чем-то пошушикалась там с матерью и бабушкой Пелагеей.

Настасья Семеновна повесила на гвоздь поношенное зеленое пальто и, переваливаясь с ноги на ногу, важно подошла к матери.

— На-ко, Серафима, это мой Борис из Москвы прислал. Пишет, что такую рыбку токо в лесторанах, да и то не кажиному, дают. С выбору... Вкусно очень — так и тает в рту.

Мать, взявшая из ее рук сверток с рыбой, прошла на кухню. И мы вместе с Петькой и Нинкой Стрекозой вмиг переметнулись с одной стороны полатей на другую и уставились на кухонный стол.

Мать отрезала нам по небольшому куску не виданной еще нами красной рыбы:

— С хлебом ешьте, а то животы заболят!

Гости сидели долго. Дед Фрол несколько раз за этот вечер приставал к Трофиму Феофановичу с одним и тем же вопросом.

— Ты, Феофаныч, мужик грамотный, уважаемый. Радиво у тебя, говоришь, есть батарейное... Так ты мне скажи как на

духу — дальше чего будет? Как жисть наша пойдет? Неужто потом не только колхозы, но и совхозы изведут? Неужто еще укрупнить будут?

Трофим Феофанович тихим спокойным голосом объяснял что-то деду, но тот, беспрестанно кивая, снова и снова расспрашивал:

— Так колхозы да совхозы при коммунизме будут али нет? И что люди будут делать, ежели земля-то ничейная будет?

— Трофим Феофанович! — окликнула учителя бабушка Пелагея. — Да не слушайте вы его! Ему — пню старому — как под хвост попадет, он без умолку ересь всяную городит. Плюньте на него!

— Да нет, — повернулся к ней учитель. — По делу он спрашивает, будущим нашим интересуется. Должен человек знать, чего потом будет.

— Доживет коли — сам увидит! Нечего наперед загадывать! — категорично рассудила бабушка и притопнула на деда: — Молчи! И не позорь себя перед хорошим человеком! А вы, Трофим Феофанович, уж не обессудьте за него. Чего с него взять — пьян, вот и мелет, не зная меры...

Егор Васильевич и Прокоп Захарович чуть ли не до кулаков спорили о лошадях.

— Погоди, — страшал конюха Томилин. — Пройдет годика два — от твоих кобыл и хвостов не останется! Сомнут их машины в бараний рог...

— Накося, выкуси! — оскалился на Томилина Прокоп Захарович. — Хочешь знать, так я в городе ноне бывал и своими глазами лошаденку на самой главной улице видел. В телегу запряжена. Машин там полно — того и гляди, с ног сшибут, коли рот развязишь. А лошадка, знай себе, цок-цок по асфальту. Везет чего-то, кучер в телеге сидит... Значит, не обходятся без лошадки, а ты говоришь — машины, машины...

— Посмотрим, как оно будет!

— А и смотреть нечего! — наискосок рубанул ладонью Прокоп Захарович. — С испокон веков без лошади люди не жили и впредь никогда не будут!

Настасья Семеновна, одиноко сидевшая на краю стола, несколько раз начинала запевать: «Ой, туманы мои, растуманы...» Но ей никто не подпевал. Потом светловолосая жена Прокопа Захаровича встряхнула плотной косой и зычно скомандовала:

— А ну-ка, муженек, сыграй нашу!

Прокоп Захарович дружелюбно пожал руку Томилину и послушно взял в руки гармонь.

— Запевай, Анютка!

Жена конюха вдохнула полной грудью и запела «Катюшу». Все разноголосо стали подпевать, дед Фрол громко заихал.

Бабушка Пелагея не вытерпела этого и, подхватив его под руку, увела в нашу комнату...

Утром, когда мы с Костиком проснулись и стали собираться в школу, в доме никого не было. Дед с бабушкой ушли ни свет ни заря — овечка у них вот-вот объяниться должна. Отец уехал по деревням картошкой меняться — он задумал на своем участке сразу несколько сортов посадить.

— Посмотрю, какая лучше расти будет, — говорил он матери, — ту и оставлю на будущий год. А той, которая не родит ничего, и землю занимать нет никакого смыслу...

Мать уже ходила около телятника и носила воду в дощаную маленькую теплушку, из которой белым столбом поднималася дым.

Стол на кухне был заставлен чашками и тарелками с остатками еды, стаканами с недопитой самогонкой и пивом.

Поначалу нам с Костиком на новом месте было скучновато. В «войну» было не с кем играть: Петька да Нинка Стрекоза — вот и вся наша компания! Но потом обжились. В середине мая, когда Журавка просветлела и вошла в берега, мы после школы сломя голову бежали на речку. В Журавке в эту пору было столько «кузничиков», небольших разноцветных рыбок, что мы едва успевали закидывать удочки.

Следом за нами прибегал на речку и Петька. Он стоял обычно позади нас и шмыгал носом.

— Митька, дай половить!

Я давал ему свою удочку нехотя, а когда поплавок уходил под воду, кричал, будто меня режут, и выхватывал из его рук удочку. Прокопенок с обидою хлопал глазами, выглядывая из-под большого отцовского картуза.

Нам такая рыбалка быстро надоела, и мы сделали Петьке удочку. Крючка, правда, не нашлось, но я согнул длинный драночный гвоздь и заточил его напильником — крючок получился не хуже заводского.

В один из таких дней к нам подошел Трофим Феофанович. Он молча подсел рядом и долго наблюдал за нами.

— Как речка называется? — спросил он, оторвав взгляд от беспрестанно прыгающих и ныряющих поплавков.

— Журавка! — выпалил я и был рад тому, что с ответом опередил и Костика, и Петьку.

— Правильно, — подтвердил учитель. — А почему?

Мы переглянулись и затихли.

Трофим Феофанович усмехнулся и покачал головой.

— Не знаете?

— Знал, да забыл, — поморщился Петька.

— Тогда слушайте, расскажу.

Учитель на какое-то мгновение задумался, глядя на подступающий к реке дальний лес, потом снова повернулся к нам.

— Там, где речка наша начало берет, болото большое, вязкое: пойдешь не знаючи — и утонуть можно. И когда-то давным-давно жил там журавль. Летом только светать начинает, а он уже кричит — курлы, курлы. Люди слушали его, радовались — нигде больше журавлей не селилось, только у нас...

Мы отложили в сторону удочки и завороженно слушали Трофима Феофановича.



— А потом, — продолжал он, — журавля не стало, то ли лиса съела, то ли убил злой какой человек... Но с тех пор не появляются они здесь. А почему? Никто этого не знает. Летят весной, прокурлыкают над болотом и дальше путь держат. Вот от того журавля и название речки пошло. Интересно?

— Угу, — ответил за всех Костик.

— Ну продолжайте, ловите, а то рыбе уже скучно без вас стало, — пожурил нас Трофим Феофанович и не спеша, словно о чем-то раздумывая, побрел по дороге...

Воскресенье стали выпускать коров. Первым вывел на улицу свою высокую черную, будто дегтем вымазанную, корову Прокоп Захарович. Он крепко держал в руках витую волосянную веревку, силился устоять на месте, но корова, оказавшись за калиткой впервые после долгой зимы, зафыркала, завызгивала, бросаясь из стороны в сторону. Хозяин, покрикивая на корову, едва успевал за нею.

— Петька! — орал он на сына. — Чего рот раззявит? Бери

вицу да помогай!

Выпустил свою корову и Трофим Феофанович. Но он не как Петъкин отец, не бегал за ней, словно блажной, а накинул навязанный на рога повод на стоящий под окном столбенок и отошел в сторону.

Корова рванулась в деревню, но веревка была прочной. Корову развернуло около канавы, и она, упав на передние ноги, неестественно взревела и стала рогами ковырять землю, осипая себя песком и комовьями дерна.

Потом, когда все спустили коров с веревок, Прокопова черная громадина грозно зафыркала и набросилась на маленькую рыжую коровку Настасью Семеновны. Они, сцепившись рогами, заходили по кругу. Из-под их ног разлетались по сторонам клочья прошлогодней травы.

— Разгоняйте! Разгоняйте их! — верещала на всю деревню Настасья Семеновна, размахивая гибким ивовым прутом.

Прокоп Захарович, оказавшийся ближе всех к бодающимся коровам, вороном подлетел к ним, хлестанул и ту и другую сложенной вдвое веревкой, и они разбежались, стали ходить спокойнее, но все еще косились друг на дружку и шумно пышкали.

— Ишь, чего удумали! Ужо пободаюсь я вам! — размахивала ивинкой Настасья Семеновна, не спуская глаз со своей коровы.

По всей деревне стоял непривычный для прошедших дней запах парного молока. Тянуло черемухой и свежей травой. Мужики и бабы, не упуская из виду утихомиравшихся и разбредшихся по берегам Журавки коров, присели на взгорке около небольшого совхозного склада.

— Федор Кузьмич! — позвал учитель, увидев копошившегося около огорода отца. — Иди покури!

Отец нехотя взмахнул топором, тюкнул им в лежащее подле забора бревно и подошел к складу.

— Федор Кузьмич, а ты свою коровку чого не выпускаешь? — кокетливо заводила плечами конюхова жена.

— Придет время и выпущу! — не растерялся, ответил отец.

— Теща хотела телочку подарить, а у них нынче, как на грех, корова бычка принесла. Значит, покупать будем.

— Уже договорился с кем? — полюбопытствовал Прокоп Захарович. — Или думаешь?

— Корова, считай, есть уже, — хвастливо заявил отец. — Деньги отдать да привести осталось.

— По весне-то дороговато выйдет, — с сочувствием заметила Шурка Толстоброва.

— Не дороже денег!

— Так-то оно так, — снова включился в разговор учитель.

— Купить не трудно, продержать сложнее будет...

Обычно, когда Трофим Феофанович начинал о чем-то говорить, его никто не перебивал — выслушивали до конца. Но тут незаметно оказавшийся в толпе пчеловод не смог умолчать:

— Не пугай, Феофанович! Корову не продержать — как это совсем безработнем быть надо! Что ему, не накосить, или хозяйка у него доить не умеет? Вот ерунда какая — не продержать!

— Может, и ерунда, как ты, Егор Васильевич, говоришь. Но... — начал снова учитель.

— Чего «но»? — готовясь к предстоящему спору, Томилин стрельнул в сторону окурком.

— Был я недавно на партийном собрании управления совхозами, и что-то, мужики, видится мне неладное. Затянут нас с этими коровенками так, что ни пикнуть, ни вздохнуть. Все, говорят, должны на совхоз работать, а про свое и думать не сметь! Вот так-то, мужики!

— Говорят, в Москве кур доят, — сердито отозвался Егор Васильевич. — Мало ли они там чего мелют. У них план по собраниям доведен — вот они и чешут языки: кто во что горазд! А наша управляющий как сказал? Не знаю, говорит, как у других, а вы о сенокосах не беспокойтесь! Как было лонись, так и nonе будет.

— Не робей, Федор, — подбодрил отца Прокоп Захарович, — заводи коровенку! Без нее никак нельзя — ни молока на стол, ни навозу в огород. А с сенокосами бояться нечего, Евсевич свой человек — не обидит!

Вскоре наши родители поехали покупать корову. Покуда отец запрягал на конюшне лошадь, мать, одетая в яркое цветастое платье, еще раз пересчитала деньги, потом завернула их в носовой платок и сунула за пазуху. Под окнами промелькнула бабушка Пелагея.

— Ой, девка, чуть не забежалась! — с трудом переводя дыхание, заговорила она. — Думаю, хоть бы до меня не уехали.

Мы, обрадованные, бросились к ней. Но она почти не обратила на нас никакого внимания.

— Денег-то, девка, хватит?

— Пятьсот рублей взяли.

— На-ко на всякий случай еще сотенку — вдруг больше запросят. Фрол раздобрился... А это, — она вынула еще несколько бумажек, — на житье вам — в запасе-то у тебя, наверное, ничего не осталось... Подальше, подальше убери — ближе возьмешь, — приговаривала бабушка. — Да на Федора не очень надейся! Чего он в коровах понимает? Сама получше посмотря, у хозяев да и у соседей порасспрашивай: смирина ли, между-молоки долги ли? Все повышайтесь, а то возьмете какую-нибудь недоюху — только деньги зря выбросите...

— Сима! — раздался под окнами голос отца. — Поехали!

— Иду! — отозвалась мать и, прихватив с собой большую хозяйственную сумку, выскочила на улицу.

Бабушка Пелагея кинулась за ней следом, и, пока тарантас не прогрохотал за поворот, она что-то кричала вдогонку, размахивала руками.

Зайдя в избу, она перекрестилась, присела у окна и долго смотрела на улицу. А когда лошадь миновала озимое поле и скрылась в лесу, бабушка облегченно вздохнула:

— Ну поезжайте с богом! Теперь и у вас, если все чередом, кормилица будет.

Утром Костик проснулся первым и радостно затормошил меня.

— Вставай! Приехали!

Спросонья я не сразу сообразил, кто и откуда приехал, но, услышав с кухни приглушенные голоса, пулей соскочил с кровати:

— Купили?

— Привели, — устало усмехнулся отец, а бабушка Пелагея, властно восседавшая за столом, гордо добавила:

— Сейчас мать подойдет — молоко пробовать будете.

— Ура! — ошеломленно закричал Костик и выскочил на мост.

Я словно на крыльях вылетел вслед за ним, и мы мигом очутились во дворе и замерли у порога.

Посреди двора на свежих, пахнувших смолой половицах стояла белая корова с большими черными пятнами на боках. Увидев нас, она повернула голову к дверям и негромко замычала.

— Пеструшка, Пеструшка, — заприговаривал Костик, протягивая к корове руку.

— А вы зачем пришли? Кто вас сюда звал? Марш домой! — скомандовала мать, выглядывая из-под коровы. — Насмотриесь еще! Да и звать ее не Пеструшкой, а Зорькой надо.

Мы встали на порог и, держась за большую кованую скобу, смотрели, как мать быстро сжимает и разжимает кулаки, как из-под них с тонким протяжным звоном ударяются в стеки ведра белые, тонкие, похожие на бабушкину пряжу, струйки молока.

Зорька стояла спокойно, слегка помахивая хвостом. Мы наблюдали за ней почти не дыша. Мать, закончив доить, нежно пошлепала корову по горбине и повесила на перегородку скамеечку, сделанную отцом из большого елового чурaka.

— Марш домой! Кому я сказала?! — увидев нас, притаившихся у двери, но уже не так громко окликнула мать. — Не мешайте ей, пусть отдохнет с дороги. А то вон сколько, милая, отмахала. Километров двадцать, наверное, за телегой прошла.

Бабушка Пелагея, процедив пенистое душистое молоко, усадила нас за стол.

— Ну-ка по кружечке! Пробу сымите да и впредь теперь всегда пейте — парное молоко всякого другого полезительнее.

— С хлебом, с хлебом пейте! Сытнее будет, — добавила мать, отрезая мучнистую белую горбушку от только что вынутого из печки каравая.

И хлеб, и молоко — все было вкусным. И мы с Костиком, сидя на высокой и широкой лавке, стригли от удовольствия ногами.

— А ты, Коська, особенно на молоко нажимай! Смотри — кощей кощем, так и в космонавты не возьмут. Там во, — отец раздвинул плечи и согнул руки в локтях, — там сильные, здоровые мужики нужны! Так что пей молочко, да побольше! Теперь оно у нас свое будет!

Он стоял подле стола и смотрел на нас радостными глазами.

— Да! — спохватился вдруг отец. — Я вам картинок кучу привез! У тетки Мани набрал. И все с космонавтами. Только, чур, сначала поешьте, а уж потом и за них возьметесь.

Отец вышел на мост и вернулся на кухню с полевой сумкой. Он расстегнул ее и выложил на стол выдранные из журналов страницы.

Бабушка Пелагея брезгливо глянула на них и проворчала:

— Куда вам, к лешому, этих безбожников? Все небо испохабили!

— Ты что, мамаша, говоришь-то! — рассмеялся отец. — Гордиться надо, что наши первыми брешь в небе пробили, утерли нос этим американцам. До чего наша наука дошла!

— И ты, видать, тоже такой, — пробунчала бабушка и, взглянув на отца острым колющим взглядом, скрылась за печью.

Мы с Костиком тихо, чтобы она не услышала и не рассердила, захихикали и, поставив на залавок опорожненные кружки, стали рассматривать журнальные вырезки.

Картиночек было много. Костик на цыпочках прошмыгнулся мимо печи в свою комнату, принес ножницы и принял обрезать неровные края страниц. Мне тоже хотелось заняться этим же, но брат отказался дать ножницы. Выручила вошедшая с улицы мать:

— Не расстраивайся, Митька! На эти — они и больше, и остree.

Она подала мне с высокого кухонного комода длинные, тяжелые ножницы, которыми стригли овец. Они были острые, стригли со скрежетом, туго, но зато прямо и очень ровно.

Я не спеша работал ножницами и искоса поглядывал на цветную обложку, которую Костик отложил в сторонку. Она была совсем-совсем свежая, отдающая глянцем. На ней —

фотография Валентины Николаевны Терешковой и Никиты Сергеевича Хрущева. Края у обложки были рваные, и я, когда Костик наклонился за упавшими под стол ножницами, взял ее и стал обстригать. Костик спохватился, но было поздно: неровные края фотографии были уже обрезаны. Он расхныкался, и тут же из-за печки вынырнула бабушка Пелагея.

— Чего у вас миру не хватило? Из-за картинок разодрались? Не я ли говорила — не доведут они до добра... На-ко, на-ко еще чего! — всплеснула она руками, увидев только что обрезанную мною обложку. — Это, что ли, Ерешкова-то? О-ей! Ей надо робят рожать, а она по небесам раскатывает!

— Она, — сквозь слезы ответил Костик. — Только не Ерешкова, а Терешкова.

— Не один ли ляд, все одно — баба. Не ейное бы это дело — бога гневить... — Бабушка глубоко вздохнула и, погрозив мне пальцем, покинула кухню.

Натерев обратную сторону журнальных обложек вареной картошкой, мы наклеили их напротив своей кровати.

После этого мы членоками сновали из дома на улицу и обратно.

— Когда Зорьку выпускать будем? Она же есть хочет!

Наконец-то после обеда корову решили выпустить из двора.

Мать с бабушкой Пелагеей встали у палисадника, а отец с гордым и независимым видом, насколько было можно, широко растворил калитку.

— Иди-иди, Зоренька! Иди с богом! — приговаривала бабушка. — А вы, проказники, — зыркнула она в нашу сторону, — не подгоняйте! Напугаете еще.

Зорька медленно подошла к раскрытой настежь калитке и остановилась. Она помахивала хвостом и водила мордой, словно что-то вынюхивая.

— Му-у-у! — громогласно пронеслось по деревне. И тотчас же многоголосым эхом ответили мычанием совхозные телята, бродившие в самом заду небольшого выгона, вплотную примыкавшего к телятнику. Отозвались и коровы, которых пасли в этот день Трофим Феофанович и Настасья Семеновна.

— Федор, придержи-ка ее, — промолвила бабушка и подошла к Зорьке.

Она взяла из ладонки щепотку соли и зачем-то посыпала ею меж Зорькиными рогами.

— Ты чего, бабушка, — колдунья? — с удивлением произнес Костик.

— Замолчи! — тотчас же фыркнула на него мать.

— Теперича и отпускать можно, — отряхивая ладони, про-

говорила бабушка. — Только, смотри, в деревню не отпускай, а то забодают ее.

— Дурак я, что ли? — обиженно отозвался отец. — Пускай пока одна походит, попривыкает к местам нашим.

Это показалось нам с Костиком обидным, и мы, пригорюнившись, сели на пригретую солнцем скамейку. Нам хотелось отправиться сейчас вместе с Зорькой туда, где паслись все деревенские коровы. И мы были уверены, что наша корова будет в этом небольшом стаде не только самой красивой, но и самой сильной. Рога у нее были короткие, острые, не то что у других, похожие на ухваты для больших ведерных чугунов.

Зорька поводила носом поверху, перешла через дорогу и принялась за свежую майскую траву. Трава на солнцепеке была густая, темно-зеленая, и корова хватала ее полным ртом, выбиная до самой земли.

— Жоркая, — самодовольно отозвался отец.

— Ну дай-то бог! — отозвалась бабушка.

Я соскочил со скамейки и убежал к стоящей подле ограды поленнице дров, нарывал там большой пучок зелено-бархатистой травы и принес ее Зорьке. Корова, вытянув морду, обнюхала траву, прикоснулась мягкими и теплыми губами к моей руке — пучка как не бывало!

Подбежал и Костик. Корова так же споровисто слизнула с его рук траву, но неожиданно на мгновение остановилась и стала выпускать ее обратно. Мы переглянулись, не понимая, в чем дело.

— Травка, видать, несъестная попалась, — пояснила мать.

— Коровы — умные животинки: они не едят все, что под ногами растет, а только по выбору. Вот и выплевывает...

— Лучше хлебушка кусочек принесите, — подсказала нам бабушка. — Тогда она вас и знать будет. Да поласковей, по-нежней к коровушке подходите...

Мы что есть прыти бросились в избу, набили карманы черствыми корками и, выскочив, на улицу чуть не сшибли с ног Трофима Феофановича. Он стоял около калитки и, глядя на нашу корову, беседовал с отцом.

— Вы бы на физкультуре так бегали, — усмехнулся он, отпрянув в сторону.

— Носитесь тут, как кошки угорельые, — пригрозила мать.

К Зорьке я подбежал первым и протянул ей кусок хлеба. Она заводила носом, обнюхала мою руку, и в тот же миг горбушки вместе с ладонью оказалась у коровы во рту. Я вскрикнул от боли и отскочил в сторону.

Трофим Феофанович, громыхая большими яловыми сапогами, в два счета оказался рядом со мной.

— Больно?

— Н-н-нет! — заикаясь от испуга, ответил я, не спуская глаз с размазанно жующей коровы.

— Глазами смотреть надо! — сердито сказал отец, размахивая хворостиной на Зорьку. — И ты, мамаша, хороша, — кивнул он на бабушку. — Научила...

Отец легонько хлестанул корову по боку и осмотрел мою руку.

— Ничего страшного, — решительно заявил он. — Царепина, да и только! До свадьбы заживет.

— Впредь умней будешь! — с укором проговорила мать. — Не станешь куда не следует руки пихать.

— Здравствуйте, граждане миряне! — неожиданно из-за спины учителя послышался звонкий голос Шурки Толстобровой. — Что за куча мала? Коровку смотрите? Хороша, ей-богу, хороша — с первого взгляду видно. Игрушечка, а не коровенка...

— Ты уж не со зла ли это говоришь? — искосилась на нее бабушка Пелагея.

Шурка в ответ несколько раз сплюнула в сторону.

— Да что ты, тетка Пелагея! Я ни на плохое, ни на хорошее — ничего не знаю! А коровушка и в самом деле хороша. И сколько, Кузьмич, — обратилась она к отцу, — за нее взяли?

— Поначалу на пятьсот договаривались, но пришлось еще полсотни набавить.

— Дороговато, дороговато, — покачала головой Толстоброва. — У меня вон какая хабазина, да и то за четыре сотни отдали...

— Да-а-а, — протянул Трофим Феофанович. — У тебя не коровка, а коровища. На слона похожа, а доит, как коза...

— Менять буду! — твердо заявила Шурка. — Во двор еле проходит, хоть косяки переставляй, а молока — точно кот наплакал. С любого корма так.

— Зато навозу много, — вставил отец.

— Чего-чего, а этого хватает, — согласилась Шурка. — Ни одной грядочки без навоза не обходится. Картошка растет — ой-ой какая. Иные картохи хоть в Москву на выставку отправляй! А у вас как доит?

— Да ничего, — пожал плечами отец. — Сегодня привели, а уже утром литров семь дала. Хозяева, ежели не проманывают, до тридцати, бывало, надаивали.

— Хорошо, — растянуто проговорила Толстоброва. — Если на весну телочка удастся — рассчитывайте на меня. Возьму, ей-богу, возьму — никаких денег не пожалею.

— Продавать-то тебе, как цыганке, — шутливо высказался учитель. — Тебе любая корова не корова, ни на одной остановиться не можешь — меняешь, как рукавицы.

— А что делать, если доят худо. Никак на хорошую попасть не могу.

— Может, доить не умеешь, а коровы тут ни при чем. К ним тоже подход нужен... Вот так-то, Александра Петровна! — усмехнулся учитель, ковыряя носком сапога втоптанный на тропинке кирпичный осколок. — А у тебя одно на уме: менять и менять. Скольких переменяла?

Шурка Толстоброва сникла.

— А ну, ребята! — скомандовал нам отец. — Хватит байки слушать! Гоните Зорьку к овину — часок-другой походите за ней. — Он подал Костику хворостину.

— Сы-ы-ы! Сы-ы-ы! — кричали мы, но корова не подчинялась нам. Она отмахивалась от нас похожим на метелку хвостом и все время норовила повернуться к нам мордой. Из уголков ее ворсистого рта тянулись тонкие струнки слюны, а язык, словно заводной, шнырял из одной ноздрины в другую. Нас разобрав смех: мы ходим за коровой, а она за нами.

— Чего вы копошитесь, — в ответ на наши смешки крикнул отец, — идите к овину!

— Митька! Ты вперед иди — мани ее хлебом, а Коська пускай сзади подгоняет, — глядя на нашу беспомощность, подсказала бабушка.

Я протянул Зорьке хлебную горбушку. Она потянулась за хлебом, я сорвался с места и вприпрыжку побежал к старому, заброшенному овину. Костик, помахивая хворостиной, едва успевал за нами.

Корова меня нагоняла, норовя вырвать из рук горбушку. Она все ближе и ближе. Я бросался вперед изо всех сил, но она не отставала ни на шаг. Перед самым овином я споткнулся, упал навзничь и закричал от страха.

Мне казалось, что Зорька, бегущая за мною по пятам, не успеет отвернуть и ее черные, словно лакированные, копыта вспыхнут в меня. Я зажмурил глаза, сжался в комок, ожидая самого худшего. Но корова протопала рядом и, взлягнув высоко задними ногами, побежала вдоль лога к овину, а от него повернула к лесу.

— Бежим скорее! — взвизгнул надо мной Костик. — А то сейчас в лес умалахтает!

Он, не останавливаясь, подал мне руку, помог подняться, и мы побежали вслед за коровой. Хвост ее метелкой болтался в воздухе, а большое жилистое вымя раскачивалось из стороны в сторону. Корова во всю прыть неслась к молодому густому ельнику.

— Зорька! Зорька! — закричали мы от досады, когда до леса оставались считанные метры. Услышав наши голоса, корова сделала круг и резко остановилась, не опуская поднятого

кверху хвоста.

— Зорька! Зорька! — закричали мы снова.

Она мотнула головой, словно хотела кого-то бодануть, и ринулась к нам навстречу. Подбежав совсем близко, корова остановилась как вкопанная.

Мы дали ей по куску хлеба. А потом, когда у нас не осталось ни крошки, стали выворачивать перед нею карманы, показывая, что больше ничего нет. Но Зорька никак не хотела этого понять и ходила по пятам, не обращая никакого внимания на густеющую около овина траву. Тогда мы взбрались на полуистлевшую соломенную крышу овина, где одинаково пахло и прелью, и мышами, и еще — грибами.

Зорька, задирая голову, забегала то с одной стороны, то с другой, а потом, смиравшись с нашими проделками вновь принялась за траву. Ела она неторопливо, почти не отрывая головы от зеленеющего лужка.

— Смотри! — вполголоса проговорил Костик, показывая рукой в сторону дороги. — Дед Фрол идет!

Мы хотели крикнуть деду, чтобы позвать его, но он уже свернул с дороги и направную пошагал к овину.

— Пастушите? — спросил он, переходя через болотистую чавкающую лощину.

— Только сейчас выпустили! — ответил я, и мы быстро спустились на лужок.

— Дайте-ка я посмотрю, кого вам купили?

Дед пристально стал осматривать корову. Зорька оторвалась от травы и боязливо подошла к нему. Дед Фрол погладил ее по нежной ворсистой мордашке, шлепнул ладонью по спине и многозначительно хмыкнул:

— Молодец, Федорко! Неплохую, должно быть, коровенку приобрел. Молодая, смиреная, а вымя какое! Должна хорошо доить...

— А мамка уже доила! — с радостью сообщил Костик. — Чуть не полное принесла.

— И масть хороша, — заметил дед, присаживаясь на бугорок подле овина. — Когда Симка — мать-то ваша — маленькою была, мы точь-в-точь такую же держали. Пестренькая, рожки махонькие, будто шильца... Она и спасла тогда нас, а то бы с голодухи ноги протянули. Только коровенкой и жили, за нее и держались. А потом, — горестно вздохнул дед, — потом в колхоз записали, корову свели на общий двор, и сдохла она в первую зиму... Закопал я ее в старой силосной яме, а наутро иду мимо — взрыто все, пусто в ямине — нет ничего...

— Волки съели? — живо поинтересовался Костик.

— Двуногие, — не сразу ответил дед. — Это сейчас с жиру пухнут, а тогда с голода брюхавицы дулись. Вот и выкопали,

съели... А сколько их тогда переваляли — в землю да из земли!.. Тыфу-тыфу, не к слову будь сказано.

Дед замолчал, докуривая самокрутку.

— Может, домой правиться будем? — спросил он, потушив обжигающий пальцы окурок. — Она уже сытая — на траву и не смотрит.

Подгонять Зорьку не пришлось. Она сразу же, как только мы отошли от овина, увязалась за нами.

— Смотри, ручная какая! — восторгался дед, оглядываясь на бредущую позади корову. — Такую и пасти будет любо-дорого.

— А ты откудова взялся? — изумилась бабушка Пелагея, когда мы вместе с дедом подошли к дому.

— Корову пришел смотреть, — пояснил дед, присаживаясь на скамейку. — Помнишь, Палаша, самая первая похожа на эту была...

— О чём это ты?

— О корове.

— О какой?

— Вот непонятливая! — возмутился дед Фрол. — У нас с тобой которая была самая первая. Такая же мастью, доила хорошо, а потом сдохла в колхозе... Или не помнишь? Малинкой, кажется, звали...

— Язык у тебя поганый! — выругалась в ответ бабушка. — Каркаешь невесть чего — хуже бабы всякой.

— А чего такого и сказал! — пожал плечами дед Фрол. — Вот сейчас сказану — за голову схватишься! Поклон тебе сыночек прислал...

— Чего хоть пишет? Домой-то приедет али нет? — переменившись в лице, затараторила бабушка.

— Домой? Да он и не собирается! Устроился твой Мишка на работу, квартиру вот-вот обещают, в гости зовет, точнее, зовут. Он... и мадмуазелия.

— Симка! Симка! — закричала бабушка, увидев идущую с телятника мать. — Мишка-то чего вытворяет? Позору-то, позору теперь! Чего люди скажут?

— Сукин сын, а не Мишка! — подытожил дед. — Настинка из-за него, дурака, высохла вся, а он, видишь ли, другую нашел. И что это за армия такая, если он за времяз служивое снюхаться сумел...

— Может, охомутала какая, — выразила догадку мать, — повязала по рукам и ногам...

— Как нам быть теперь? Чего делать? — придя в себя, заговорила вновь бабушка Пелагея.

— А ничего! — кротко ответил дед. — Коли нет в голове — своего ума не добавишь! Сам кашу заварил, пусть и расхлебы-

вает. Родителей на чужбину променял, скапидар он этакий! Никакой свадьбы ему спровадить не буду! И чучело это с князька сегодня же батожиной сшибу — чтобы душу мою не бередило... Поезжай к нему, приглашают. Изнежила ты его с малолетства, вот он и вытворяет штучки-дрючки...

— Эх, было бы из-за чего расстраиваться! — рассудил отец, вернувшись из центра совхоза. — Маленький он, что ли? Когда я на Серафиме собирался жениться, на меня тоже мать с отцом немило глядели. Да ничего, свыклись, и мы, слава богу, живем не хуже людей. Жалко только, что свадьбу здесь играть не собирается. Поплясали бы...

— Если все честь бы по чести, так чего и не сыграть, — смягчился дед. — Мы ведь и готовились к свадьбе, Настинку, думали, возьмет, а оно вон как обернулось, подскапидарило.

— Зато у меня сегодня очень ловко получилось — как в иголку вдел! И корову привел, и в конторе побывал, и денежки получил, — с радостью сообщил отец. — Уже второй раз по девяносто рублей выдают. Кабы знал, что ты, папаша, в гостях будешь, — четвертинку бы захватил...

— Не помешало бы, — причмокнул дед. — А с картошкой у тебя, Федорко, получается чего али нет? Не придется ли вертеть аванец?

— Ну уж нет! — уверенно ответил отец. — Все будет в ажу-ре!

— Не рановато ли хвастаешь? — с упреком проговорила мать. — Еще и не пахано, а ты уже копать собираешься!

— Если погода не подведет, вырастет не хуже, чем у любого в огороде. В этом я нисколечко не сомневаюсь. Навозу навозил — ступить негде. Конюшню да и телятник подчистую подобрал. Все на лошадке вызывал. Семена подготовил, обменял. Теперь у меня сортов десяти в наличии имеются. Погляжу, которые плодовитее, те и разводить буду.

— Смотри, Палаша, — с гордостью кивнул на отца дед Фрол, — не думал я, что у нас зять-то такой сообразительный.

— А чего? — добродушно рассмеялся отец. — Евсеича не подведу. Трактор, плуг — все готово. Сажалку дали — сама картошку садит. Никаких помощников особых не требуется. Только с ней еще разобраться надо. Позавчера инженер да три механика около нее целый день протоптались и толку не могли дать. На завтра еще из района инженера вызывают...

— Столько голов да к одной машине — значит, наладят, — обнадеживающе заметил дед. — Только, Федорко, садить не спеши. Картошке немного для роста времени надо, больше тепло требуется...

— Вот и подскажи ему, — вступила в разговор бабушка. — У тебя же у рук все бывало.

— Картошку садить, — хитровато сощурился дед Фрол, — тятка меня учил. Выходи, говорит, средь белого дня в поле, скидывай штаны и садись голым задом на землю. Ежели земля холодит, значит, временить надо, а ежели теплая — сади смею, не плошай! Только не торопись, Федорко, а то в поле изгниет, морозом прихватит. Утренники еще вона какие бывают!

— Научишь, так он и будет без штанов по полю шастать, — рассмеялась мать. — Людей всех от ума отставит.

Захихикали и мы с Костиком, но дед Фрол резко осадил:

— Вам не скалиться надо, а на ус наматывать да отцу помогать, коли ему дело такое сурьезное поручили.

— А они и так помогают! — заступилась за нас бабушка.

— С Мишкой-то как все-таки решать будем? — спросил отец, когда бабушка с дедом засобирались домой.

— Чего мы без него решим? Пусть сам решает, — ответил дед, направляясь к порогу. — Не маленький.

— Приглашает ведь, — вставила мать, — может, соберетесь да съездите?

— Ладно, — тихо проговорил дед. — Огороды управим — съезжу, посмотрю...

— Надо, Фрол, побывать, — поддержала его бабушка Пелагея. — А то люди да сваты чего скажут? Подумают про Мишку, что он как ломоть отрезанный, — родителям, мол, даже не нужон...

— Но ежели что не по мне, — наступил брови дед Фрол, — я церемониться долго не буду — развернусь и обратно поеду... Сенька-молоковоз, жаль, теперь ездить не будет, а то бы он меня до райцентра добросил.

— А чего с ним? — тревожно глянула мать.

— Вчерася с моста шандахнулся. Хотел по краешку проехать, да не получилось. Со всего-то верху и ухнул вместе с племянником. Мальцу ничего не сделалось, а Сеньке руку да и ребра поломало. Кабина пирогом, а молоко в ручей вытекло — речкой, говорят, бежало.

— Так он что, пьян был?

— Какое там — пьян! Мостовины подгнили. Они, наверное, старше меня будут...

— Зазря маслобойку свою нарушили, — с грустинкой в голосе заговорила бабушка, — работала бы она да работала... А то вози молоко к черту на кулички, вот и доездился Сенюшка...

На следующий день мы погнали Зорьку вместе с другими коровами.

И оба с Костиком немного разочаровались. Мы надеялись, что наша Зорька хоть небольшая, но самая сильная, что она никому не поддастся. Но она, когда на нее пышкали и коси-

лись другие коровы, вопреки нашим ожиданиям даже не пытаясь сопротивляться, а трусливо поджимала хвост и отходила в сторону.

Подбодрила нас Настасья Семеновна:

— Коровка-то у вас, глико, до чего просужа? Ни с одной дурой не связывается! А моя лешачиха со всеми перебодалась, пока не уломалась. Ишь, на боках — ссадина на ссадине! Да ладно, не беда это. По весне они всегда дичеют, ломыхаются, покудова не обнюхаются, не свыкнутся друг с дружкой...

Коров в деревне пасли по очереди. Этот день был Настасьи Семеновны, но из-за того, что наша Зорька ходила в стаде впервые, нам было велено помогать пастишить.

Коровы, спустившись к речке, ходили спокойно. Они разбрелись по лугу, выщипывая молодую мягкую осоку.

— Ребятики, — встав с насыженного пригорка, обратилась к нам Настасья Семеновна, — посмотрите за ними, а я домой схожу — картошки порежу. В воскресенье садить собираются, а у меня еще не у шубы рукав. Вот моя вица, если сцепятся — лупите, не жалейте!

Она положила перед нами тонкий ивовый прутик и пошла вдоль Журавки. Дом ее был совсем рядом, но по другую сторону речки. Едва Настасья Семеновна скрылась за калиткой, к нам прибежал Петька, а потом по косогору скатилась Нинка Стрекоза.

— Одни, что ли, пасете? — оглядываясь кругом, прозвенела она. — А где тетка Настасья?

— Мы ее домой отпустили, — важно ответил Костик, лениво размахивая прутком.

— Пойдемте к дубу! — неожиданно предложил Петька, прикрываясь картузом от яркого майского солнца.

— К дубу? — удивился я, не веря услышанному. — Они же здесь не растут! Они только на Ветлуге.

— Плохо знаешь! — возразил Петька. — У нас растет! Когда первые дома здесь строили, сначала дуб посадили...

— А кто посадил? — загорелся глазами Костик.

— Откуда я знаю! Мужик какой-то, который раньше всех сюда перебрался. Трофима Феофановича надо спрашивать — он все знает. А мне папка рассказывал, что этот дуб посадили, чтобы деревня, как и он, всегда была крепкой... Побежали к нему!

Мы окинули взглядом коров, посмотрели на низкие окна Настасьи Семеновны.

— Да никуда они не утикают! — торопил Петька. — Некуда. Здесь огород, тут речка, а там вспахано все. Айда, ребята!

Дуб величаво стоял на крутом берегу Журавки. Издали он был похож на большой светло-зеленый шар, чудом удерживающийся на короткой толстой подставке.

Мы наперегонки взбежали на угор. Нинка Стрекоза, чтобы не отстать от нас, скинула и оставила внизу большие, хлопающие по ногам сапоги и бежала босая. Петька с ходу, будто акробат, ловко уцепился за нижний сук дуба, мелькнул голыми пятками и забрался на дерево. Мы с Костиком — следом за ним и протянули руки Нинке Стрекозе.

Отсюда была видна вся деревня. Внизу на берегах Журавки зеленели около бочажин раскидистые ивы, а дуб все еще стоял голым, без листвьев, но на концах веток уже набухли большие продолговатые почки.

— Давайте домик здесь сделаем! — оглядывая толстые нижние сучья, предложил Прокопенок. — Наблюдательный пункт оборудуем, как у пограничников. За коровами смотреть будем. А вдруг лес где загорится... Мы первыми увидим, сообщим пожарным — они нам каждому по часам дадут.

Стрекоза прыснула и тихонько захихикала.

— Ух, пустосмешка! — обиженно глянул на нее Петька. — Дадут, ежели сообщим! Я же сам про это в газете читал. Было где-то такое. И хоть бы хны часы дали... Даже с секундной стрелкой. Поняла?

Петька оттопырил уши и показал Нинке язык.

— Айда за досками! — крикнул он и в одно мгновение оказался на земле. — Только чтоб никто не видел! За уши отодрать могут.

И мы, спрыгнув вниз, гуськом, словно воры, направились к стоящему на отшибе ничейному полуразвалившемуся дому. Впереди семенил Петька. Он то и дело оборачивался и делал рукой какие-то непонятные знаки, от которых мы еще сильнее нагибались, озорово поглядывали по сторонам.

Досок около дома было навалом. И мы, сделав две ходки, соорудили на дубе настил и выложили над ним небольшую покатую крышу.

— А ну, гаврики, слазь сюда! — неожиданно раздался из-под дуба властный голос Петькиного отца. — Я вам покажу, как деревину губить!

Нахохлившимися воробыми мы спрыгнули на землю и встали перед Прокопом Захаровичем. Он строго смотрел на нас исподлобья и, надвинув фуражку на самые глаза, сухо спросил:

— Чайная это затея?

В руках Прокоп Захарович держал короткое кнутовище, оканчивающееся тонкой и длинной волосянной плетью.

— Ты, Петька, придумал?

— Ну, — не поднимая глаз, виновато промямлил Петька.

— Доски где взяли? Гвозди?

— У нас без гвоздей! — живо, словно схватился за палочку-выручалочку, ответил Прокопенок.

— Как так? — не поверил Петькин отец и дотронулся кну-

товищем до уложенных нами досок. Он ткнул в одну, в другую — все оказались на живой нитке. — Коли так, — конюх переменился в лице, подобрел, — шут с вами, играйте. Но если увижу, что дерево гробите, всех без разбору вот этим кнутом отстегаю, как коз сидоровых. Поняли?

— Поняли! — эхом отзвались мы.

— За коровами смотрите, не зивороньте! — предупредил нас Прокоп Захарович и ушел вниз по Журавке, громко и раскатисто постреливая кнутом. Там, за огородом Шурки Толстобровой, был выгон, вместе с лошадьми паслись и несколько тонконогих молодых жеребят.

Мы проиграли на косогоре до самого вечера. Только один раз всей ватагой бегали загонять корову Егора Васильевича. Все стадо, наевшись досыта, улеглось на лужайке, а она боком-боком и чуть было не ушла домой!

— Давайте и в то воскресенье пасти! — предложил Петьяка, когда мы, подгоняя коров, стали расходиться по домам.

Он растопырил пальцы и стал считать — чья очередь будет?

— Ух ты! — неожиданно воскликнул он. — Смотрите, как получается! Семь коров, и на неделе семь дней. Это значит, тетка Настасья все лето по воскресеньям пасти коров будет, а Трофим Феофанович — по понедельникам. А вы... — Петьяка захлопал глазами и выпалил, — По средам!

Это неожиданное и обрадовавшее нас Петьянко открытие мы в тот же вечер сороками разнесли по всей деревне.

— Молодцы, правильно сообразили! — похвалил нас Егор Васильевич. — Для Трофима Феофановича удобно очень будет, если с Настасьей Семеновной очередью сменяться. Подсказать надо мужику....

— На завтра никаких побегушек и рыбалок! — встречая Зорьку, предупредил нас отец. — Картошку садить будем.

— В поле? — опасливо спросил я.

— Нет, в огороде, — ответил отец. — В поле я и сам управляюсь...

— Как все-таки решил? — поинтересовалась мать, когда мы расселись за столом. — Может, мы одни будем? У себя сделяем — и все, а то ходи по людям...

— Балясы тут разводить нечего! — твердо заявил отец. — Раз все скопом собираются — то и нам так надо! С людьми в ладу да в миру жить надо.

Узнав, что картошку будут садить всей деревней — сначала у одного, потом у другого, мы на радостях после ужина улизнули к Петьяке, чтобы сообщить ему эту новость.

— А у нас всегда так, — равнодушно ответил Петьяка. — Так быстрее получается... И веселее.

В воскресное утро мы проснулись от звонких и частых ударов, доносившихся с улицы, и сразу же бросились к окну. Около амбара стоял Прокоп Захарович и длинным металлическим штырем колотил по висящему на проволоке лемеху.

— Всех созывает, — догадался Костик. — Бежим туда!

Через несколько минут мы уже были у амбара и вместе со всеми ежились от утренней прохлады.

— Кто еще не пришел? — оглядываясь вокруг, спросил конюх.

— Все, кроме Трофима Феофановича. Его вчера в районо вызвали, и он пока не вернулся.

— С кого начнем?

— А хоть с кого!

— Предлагаю, — рассудительно заговорил Прокоп Захарович, — начнем с Егора Васильевича, потом, ежели Трофим Феофанович подойдет, — к нему, к Настасье, а затем и на этот берег подадимся. Согласны с таковым мнением?

— Согласны! Согласны!

— Тогда все до единого дуйте к Егору! — скомандовал Прокоп Захарович и, позванивая уздечкой, пошел запрягать лошадь.

Минут через пятнадцать-двадцать в огороде Томилиных собралась вся деревня. Появился Прокоп Захарович с рыжей поджарой кобылой, запряженной в конный плуг. На лемехе и ноже плуга темнели остатки нанесенного с осени солидола. Мужики, сгорбившись, выносили из избы набранную в мешки картошку.

Нам делать было нечего, и мы сломя голову носились вокруг томилинской бани, играя в пятнашки.

— А ну хватит траву мять! — пригрозила нам хозяйка Мария Степановна Томилина. — Нечего лодырничать, коли работать пришли! Берите ведра да картошку набирайте.

Мы, не отнекиваясь, схватили пустые ведра и принялись за дело.

Прокоп Захарович, покрикивая на лошадь, вывел ее на загон, почти сплошняком забросанный парным лежальным навозом. Плуг мягко вошел в землю.

Лошадь, подаввшись вперед всем корпусом, быстро пошла вдоль загона. Костик, стоявший ближе всех к свежей борозде, подхватил ведро и принял садить картошку.

— Сто-о-оп! — остановил его конюх. — Ишь, какой прыткий! Подожди немного! Рановато еще.

Брат сконфуженно отставил ведро в сторону, а Прокоп Захарович с гордым и деловым видом накинул вожжу на блестящие ручки плуга и бросил на закрайке загона грубые холщовые рукавицы. Затем он подошел к толпившимся около предбанни-

ка мужикам и бабам.

— Ну что, — лихо заломил он фуражку, — начало есть? Тогда наливай, хозяйка, чтобы работа без останову шла!

Мария Степановна тотчас же вынесла из предбанника бестрашный бурак, налила полную кружку темного пенящегося пива и первому подала Прокопу Захаровичу. Он пил маленьками глотками, причмокивая и покрякивая от удовольствия.

— Эх! — шмыгнул он носом, обтирая с губ светло-коричневый пивной налет. — До чего же хорошее! Выпил бы еще кружечку, да вдруг борозда кривая будет. Забористое.

— Да уж хмельку не пожалела, — с едва заметным поклоном ответила на похвалу хозяйка.

Затем кружка пошла по кругу. Мужики пили с охоткой, но так же, как и конюх, неторопливо, а бабы, перед тем как взять в руки кружку, жеманились, передергивали плечами...

Последнюю выпила хозяйка.

— Все! — сказал Прокоп Захарович. — Хватит баклуши бить — пора и за работу! Федор с Егором — навоз в борозды сбрасывать, остальные — на посадку! Ну, с богом!

Распорядившись, конюх снова взялся за вожжи. Садили картошку быстро. Прокоп Захарович косолапил за плугом, едва успевая за пружинистой сильной лошадью.

— В борозду! В борозду! Но, милая! — покрикивал и приговаривал он.

Наш отец с пчеловодом шуровали вилами-троенцами, сбрасывая навозные пластины в свежие парящие борозды, а мы вместе с бабами, когда пахарь на весь загон командовал: «Садить!», саранчой набрасывались на пашню. Через полчаса половина огорода была засажена.

— Пе-ре-кур! — громко и отрывисто гаркнул Прокоп Захарович, вытирая рукавом выступившую на лбу испарину.

— Загоняла тебя лошадка? — шутливо бросила ему Шурка Толстоброва.

— Да нет, — размахивая руками, ответил Петъкин отец. — Ее жалко. Для лошади пахота — нет тяжелее работы. Ишь, как боками играет... Отдохни, отдохни, милая!

Все снова потянулись к предбаннику, и только раскрасневшаяся на посадке жена Трофима Феофановича подошла к высокому ершистому тычиннику и, вытягивая шею, всматривалась в прогон, на уходящую к лесу дорогу.

— Глафира Ивановна! — напевным голоском позвала ее Шурка Толстоброва. — Иди сюда! Придет твой Феофанович, куда он денется!

— А и не придет, дак не беда, — рассудил Егор Васильевич.

— Неужто и без него не уладим? Долго ли всей-то ватагой!

— Конечно! — поддержала его Настасья Семеновна. — У

нас и учитель-то один на всех — жалеть надо.

Мария Степановна уже вновь стояла с бураком в руках. Кружка заходила по кругу. Выпив, мужики загадали, уселись на выпирающее из-под бани подкладное бревно.

Петъка, чтобы не мучиться от безделья, пулей слетал к речке и нарезал складником тонких ивовых прутиков.

— Давайте в швырялки! Кто дальше швырнет!

Он подал нам по прутику. Мы насаживали на тонкие кончики вичек липкие глиняные катышки и что есть силы взмахивали прутиками. Комочки глины отрывались с вершинок и летели вдаль.

Дальше всех швырнул Петъка. Его глиняный катышок перелетел через весь огород и слепнулся на крышу дома Томилиных. Мне не хотелось поддаваться Петъке, и я с разгону так резко взмахнул рукой, что даже в плече хрустнуло. Все, затаив дыхание, смотрели на стремительно летящий и едва заметный глиняный шарик: долетит ли до крыши?

— Ура! Перелетел! Я дальше всех швырнул! — обрадованно закричал я и запрыгал на месте.

— Ну что, хвастун! — высунула перед Петъкой язык Нинка Стрекоза. Она хотела что-то сказать ему еще, но осеклась и удивленно показала рукой в ту сторону, куда мы швыряли глиной.

— Учитель идет!

Мы встрепенулись. В раскрытую калитку входил Трофим Феофанович. В руках он нес свою широкую черную шляпу. Нес ее так, будто это была не шляпа, а чугунок с горячей, обжигающей пальцы картошкой. Учитель, не дойдя до предбанника, остановился и окликнул нас:

— Ребята, подойдите сюда!

Мы, чувствуя что-то неладное, незаметно выпустили спрятанные за спинами прутики, гуськом потянулись к нему.

Трофим Феофанович поздоровался с нами и показал на прилипшую на самом верху шляпы глиняную, величиной с пятачок, плямбу.

— Не скажете ль, откуда это?

Мы молчали, переступая с ноги на ногу. Я хотел было сознаться, сделать шаг вперед, но Петъка косо стрельнул на меня взглядом и, насупив брови, мотнул головой: молчи, мол, не скажывай!

— Не знаете? — хмуро переспросил Трофим Феофанович.

— Вот и я тоже не знаю. Загадка получается?

Он отряхнул шляпу и неспешно направился к зовущим его мужикам.

— Надо было правду сказать, — пропищала Стрекоза, поглядывая в сторону предбанника. — А то учитель будет теперь думать, что такие камушки с неба падают...

— Ты что думаешь, он не догадался? — уставился на нее Петька. — Как бы не так! Он только не знает, кто из нас швырнул.

Я стоял молча, страшась глянуть на разгневавшихся мужиков, чтобы не встретиться взглядом с учителем, и чувствовал, как запылали щеки и уши...

К вечеру вся картошка в деревне была посажена. У Настасьи Семеновны мы даже и не заметили, как управили весь огород. Участок под картошку у нее был самый маленький, но зато у Прокопа Захаровича часа три бегали с ведрами по огороду.

— И зачем столько садите? — удивился наш отец.

— Как это зачем? — ответил хозяин. — Себе на пропитание да скотину кормить. Курочек у меня десятка три бегает, корове да овечкам... А поросенку? Этого еще токо-токо хватает — кормежка-то всей скотинке нужна!

Когда уладили в огородах, все собирались около конюшни и расселись на бревнах. Наташили пива и самогонки, сала кусочками нарезали.

— А вы бегите отсюда! — прогнал нас от конюшни Егор Васильевич. — Нечего вам во взрослые разговоры вникать. Мало ли мы чего перебирать будем!

Нинкина мать дала нам по куску хлеба с розоватым запашистым салом, и мы дали драка к Журавке.

— Ребята! — остановился вдруг Петька около своего дома.
— Подождите! Я вам чего-то принесу!

Он шмыгнул в подворотню и вынырнул оттуда с тугой холщовой рукавицей.

— Только, чура, никому ни слова! — озираясь по сторонам, предупредил Петька. — А то папка ремнем меня выводит. На, Митка, пробуй!

Я непонимающе смотрел на него.

— Подставляй руку, насыплю!

Петька наклонил рукавицу-мешочек, и из него на мою ладошку высыпалось несколько крупных желтых зерен.

— Чего это? — высунулась из-за моего плеча Нинка Стрекоза. — Дай и мне!

— И мне! — отвесняя Стрекозу, выпалил Костик.

— Всем дам, если молчать будете! Кукуруза это, — пояснил Петька. — Папка вчера два кармана принес. Везде ее нынче сеют. Только у нас мало — управляющий, как дурак, не соглашается. А по совхозу — много-много! Вкусно?

Мы пожали плечами: семена были сухими и казались вовсе какими-то пресными и безвкусными.

— А как эти семечки растут? — встряхнула косичками Стрекоза.

— Откуда я знаю, — ответил Петька, — сам не видал ни разу. Вот посеют — сходим, посмотрим.



На речке мы пробыли недолго: манили и звали к себе голоса, доносящиеся от конюшни. Там уже начинали расходиться, шумно прощаюсь друг с другом.

— Мужики! — весело и зазвивно прокричала захмелевшая Настасья Семеновна. — Посуда чистоту любит! Давайте на посошок по стаканчику, неужто я домой пиво понесу.

— Пожалуй, хватит, — отозвался Егор Васильевич. — И меру надобно знать.

— Наливай, Настасья! Не помешает! — махнул рукой Прокоп Захарович и потянулся к стакану с пивом. — Дело сделано, а потому и выпить не грех!

— Пошло-поехало, — ворчливо упрекнула его жена. — Опять до самых риз наберешься!

— Аньотка! — глядя на жену, возмутился Прокоп Захарович. — Да когда я у тебя без дела пил? Да в жисть не бывало такого!

— А ты, Федор, чего сторонишься? — обратилась к отцу Настасья Семеновна. — Подходи, а то обижусь, что моим пивом брезгуешь, и помогать к тебе не приду... А ведь тебе картошки еще садить и садить.

— Сам, должно быть, управлюсь, — усмехнулся отец. — А чтобы ты, Семеновна, не осерчала, так и быть — наливай, но только полстаканчика. Больше — нельзя! Работы на завтра хоть отбавляй...

— На машины надейся, да сам не плошай! — выслушав отца, заметил Прокоп Захарович. — А ежели чего — мы поможем! Иного разговору и быть не может! Смелый ты, однако, Федор,

всю совхозную картошку на себя взял.

— Волков бояться — в лес не ходить! — поговоркой ответил отец. — Да я и не один. У меня еще два мужика в доме есть — пусть помогают, к земле приучаются.

— Ну и от нас не отрывайся, нос кверху не поднимай! — пригрозил пальцем Прокоп Захарович. — У нас деревня — во! — показал он крепко сжатый кулак. — Она у нас всегда единой организмом жила... И впредь так надо.

Стояло жаркое душное утро. Воздух насквозь был пропитан запахами июньского разноцветья. Щебетали в дуплянке скворечные молодые скворцы, под окнами беззаботно грелись на солнышке и порхались в придорожной пыли куры. Накануне мать, уходя пасти телят, наказала нам с Костиком прополоть грядку лука.

Грядка была широкая, и столько на ней сорняков выперло, что хоть плачь! Работали мы лениво. Сорняки, словно назло нам, не выдергивались из подсохшей земли, а обрывались у самых корешков.

— Айда купаться! — крикнул с дороги Петъка и петухом взлетел на забор.

— Некогда.

— Червей копаете, что ли?

— Лук чистим.

Петъка что-то промычал в ответ и вразвалочку подошел к нам.

— Ух ты! — присвистнул он, не вынимая рук из карманов.

— Да это вам до морковкиного заговенья не вычистить будет. Давайте я помогу!

Он присел на карточки рядом со мною и обеими руками принялся дергать траву, обступившую со всех сторон торчащие стрелки лука.

— Н-н-нет, так не пойдет! — протянул Петъка. — И втроем такую грядку не осилит. Стрекозу надо позвать — она любит травку дергать, все время у себя в огороде торчит.

Он ловко перескочил через забор и вскоре вернулся с Нинкой. Стрекоза осмотрела нашу работу и всю забраковала.

— Разве так полют? — по-взрослому строго спросила она.

— Чтобы корешки не оставались, надо было полить сначала. Тогда все сорняки с корешками выдергиваться будут.

Мы с удивлением пожали плечами, но ослушаться не смогли. Натаскали ведрами воды и полили всю грядку от начала до конца. Трава после поливки и в самом деле стала выдергиваться легко и чисто, только руки от влажных и прохладных сорняков позеленели.

— Ура! — закричал Костик, когда мы дошли до конца гряд-

ки. — Купаться пойдем!

Мы выскоцили из огорода и, шлепая босыми ногами по пыльной деревенской улице, пустились к реке. Там недалеко от зеленеющего копнкой дуба была небольшая тихая бочажина. На ходу срывая одежду, мы плюхнулись в воду, обдавая друг друга холодными радужными искрами.

Бочажина была широкой, но неглубокой, и через несколько минут купания вода в ней стала такой мутной, какой бывала в Журавке после самого проливного дождя.

Накупавшись вдоволь, мы поднялись на угор и забрались на свой наблюдательный пункт. Здесь наверху шелестел молодыми дубовыми листьями едва заметный ветерок, навевая прохладой и свежестью.

Костик начал рассказывать, как отец, когда мы жили у деда Фрола, водил нас на Ветлугу рыбачить.

— Это что, — с равнодушием заметил Петька. — А я вот в прошлом году на настоящей пожарной машине прокатился! Иду из школы, а она меня догоняет. Потом остановилась, пожарный в каске и спрашивает: «Река где, знаешь?» Посадили меня в кабину — на самой большой скорости к Журавке... Как на самолете летели! Ветер в ушах свистел! Они думали, что там пожар у кого-нибудь, а это лен прошлогодний сжигали... Подъехали, посмотрели да и обратно покатали. И я вместе с ними туда и сюда проехал. Ругались ох как крепко! Мой папка даже пьяный так не матерится... Вот когда я вырасту, — немного помолчав, снова заговорил Петька, — шофером буду работать. Может быть, на пожарной машине. Скоростей у нее, наверное, больше, чем у таких, быстрая она очень. А ты, Митька, — повернулся он ко мне, — кем будешь?

— Трактористом!

— Не завидую я тебе, — хмыкнул Петька. — На тракторе с ветерком не прокатишься. Тихоходный он!

— Зато нигде не застрянет! — поправила его Стрекоза. — А я ветеринаром буду. Заболеет у мамы теленок — и звать никого не надо, сама вылечу. А ветеринаром не возьмут — телятку пойду кормить. Они такие фыркуши красивые, лобастые...

— А ты, Костик, чего молчишь? Кем потом будешь?

Брат задумался, но не замедлил с ответом:

— Агрономом!

— А чем бы ты заниматься стал, агроном? — вытаращил глаза Петька.

— Как чем? — не растерялся Костик. — Придумаю, например, что-нибудь такое, чтобы сорняки на грядках не росли или чтобы картошка была крупная-крупная — с твою голову, а может, и поболе.

— Она у вас и так должна вырасти, — заметил Петька. —

Мне папка такое сказывал, да и сам вчера видел — ботва около утина уже с вершок будет. Кустистая.

— Не обманывай! — отмахнулся от него Костик. — Мы тоже вчера там были... Картошка только-только выходить начала.

— Не вру! — возмутился и вскочил на ноги Петька. — Да вай спорить! — предложил он Костику. — Если я обманываю — складник тебе отдаю, а ты проспоришь — крючков-«мушек» мне даешь и лески на две удочки.

Спорить Костик не согласился, но Петька Прокопенок не врал. Убедившись в этом, мы весь вечер не отходили от дома, поджидали отца и хотели его порадовать. Но он, возвращаясь с пилорамы, где помогал мужикам распиливать толстенные сосновые бревна, прошел криулем через картофельное поле и уже знал все без нас.

Он скинул пропахнувшую серой и опилками фуражку и, крутанув ее в воздухе, небрежно, но точно бросил на торчащий из стены гвоздь.

— Сима! — позвал он мать гортанным бархатным голосом. — А картошка-то по всему участку поперла! За одну ночь так вымахала, так вымахала — и не узнаешь!

— Не каркал бы раньше времени! — выглянула с кухни мать. — Ее еще вырастить надо да выкопать...

— Все будет как надо! — хлопнул отец в ладоши, подхватил ее на руки и закружил в воздухе. — Раз начала расти — вырастет, — приговаривал он. — Убрать и бог поможет!

— Да опусти меня! — вырывалась из его цепких объятий мать. — Окружишь голову — упадем! Опусти!

— Не отпущу! — приговаривал отец. — Не отпущу! Картошечка, Серафима Фроловна, всходит, по всему полю прет!

— Радуешься? Весело тебе? — оказавшись на ногах, покачала головой мать. — Не рано ли? И хочешь знать — меня уже укоряли тобой: мужик-то, мол, у тебя пенсию получает... Не работает, а деньги идут.

— Кто это надоумился трекнуть такое?

— Не скажу, — неторопливо ответила мать. — Не из наших, не из деревенских. Я чуть сквозь землю на провалилась после таких слов. Может, бросишь ты это дело? Чувствует мое сердце — хорошего тут мало...

— Бросить? — круто развернулся и замер на месте отец. — Из-за каких-то поганых языков? Не на того напали! Евсеич мне поручил, доверил, и я его никак не могу подвести. В лепешку разобьюсь, умру на поле, но дело это не брошу! Я не я буду, если картошку не вырашу!

— Ладно, успокойся, Федор, — остановила его мать. — Это я так, к слову сказала. Но обидно мне было, ей-богу, обидно...

Такое говорят.

— Ты, Сима, не слушай никого. Мне эти денежки, — отец резанул ладонью по горлу, — сама знаешь, как достаются! Мозоли до сих пор от навоза не сошли. Сколько я его перепрятал!

— Знаю, — согласно кивнула мать. — Но на каждый роток не накинешь платок, не станешь всякому объяснять.

— И не надо! Завидно им, вот и чешут языками. Да и дело это новое, никому не привычное. А картошка у меня вырастет — голову на отсечение даю! А около перелеска такая сильная ботва раскустилась, темно-зеленая, плотная... Сейчас посмотрю, какого там поля ягода.

Мать, прихватив горбушку хлеба и подойник, направилась во двор, а отец, не снимая запыленных и заопиленных сапог, встал на скамейку и достал с полки тонкую школьную тетрадь.

— У меня все в ней записано! Даже карта нарисована, — хлопнул он ладонью по тетради и уселся поближе к окну.

— Так-так, — заводил он пальцем по расчерченному на прямоугольники и квадраты листу. — Ага. Тут, согласно моей бухгалтерии, посажена картошка, которую мне Трофим Феофанович подсказал. Райцентровская. Четыре ведра ее было. Круглая, ровная, глазки маленькие, фиолетовые... А откуда она? Где раньше росла? — отец сощурил глаза, взглядываясь в замусоленный, обхватанный пальцами нижний угол тетради. — Ага! В школе, на пришкольном участке. Молодец, Феофанович, не проманул! Если будет она самая урожайная — всю на семена оставляю. Тогда на зависть всем не только девяносто, но и по всей сотне за месяц выходить будет. Не меньше!

— Размечтался, как дедушка с зайцами! — заметила мать, остановившись у порога с полным ведром молока.

— Дедушка Мазай! — весело поправил ее Костик.

— Тихо, шельмецы! Не мешайте бухгалтерией заниматься! — шикнул отец, не отрываясь от тетради. — Посмотри, какой навоз под учительеву картошку положен. Тут я с телятника возил, тут — тоже... А около леска — с конюшни. Сто сорок лошадиных возов было. Значит отсыпова, согласно моего талмуда и фактических фактов на участке, что конский навоз для картошки самый что ни на есть подходящий. А раз так, на будущий год всю конюшню подчистую оберу, весь навоз на поле вывезу. Тогда у меня наверняка лучше, чем в любом частном огороде, расти будет. Там навозу конского пшик — не бывает! И тогда я весь совхоз картошкой завалю. Так, мужики?!

Отец подмигнул нам с Костиком, расплылся в широкой мечтательной улыбке и, увидев появившуюся из-за печки мать, с прислышом направился к ней.

— Эх! — хлопнул он себя по коленкам. — «Три танкиста, три веселых друга — экипаж машины боевой!» Радиолу потом

куплю, пластиинок — кучу! Окна растворим и песни на всю деревню закатим. Весело, Сима, жить будем!

— Велосипед сначала! — перебил его Костик.

— И велосипед тоже! — твердо заверил отец. — Но первой всего — пилу бензомоторную. Дрова да лес заготовлять. Я еще надумал около амбара совхозного погреб рубленый поставить. Зачем ее по чужим избам развозить — вся в одном месте будет. Тогда я в любой день могу прийти и проверить: здравствуй, мол, картошечка, как дышится, живется? А велосипед, — посмотрел он на Костика, потом на меня, — заработать надо. Теперь за участком смотреть будете, а то сорняки заглушат, все вещества полезительные из земли вытянут и картошке ни шиша не оставят. Осот уже простреливает кой-где, а дня через два-три окучивать подоспеет. Вот как почистим, ограбем ее — Евсеича позову на смотрины. Он, пожалуй, не меньше моего переживает за это поле. Глянет, удостоверится, что я его не подвожу... А если бы провалил, ему бы это дело просто так не прошло: к башушке не ходи — нахлобучку бы дали...

Весь день мы с Костиком молили дождя и, видимо, намолили. К вечеру из-за леса незаметно подкралась небольшая сизоватая тучка и брызнула мелкими теплыми каплями. Убежав с улицы от дождя в дом, мы не отходили от окна, разглядывая сквозь парную пелену картофельное поле...

— Счастливые мы, — с радостью заметил отец, войдя в избу.

— Сам бог нам помогает. После дождичка в самый раз полоть и окучивать. На глазах картошечка вырастет, а потом уж ей ничего не помешает — ни жара, ни дожди проливные.

— Я на весь день с Настасьей Семеновной говорилась — посмотрит она за телятами, — сообщила за ужином мать. — Да и деду с почтальонкой заказала — вдруг да придет.

— И без него бы сделали, — запивая молоком румянную жареную картошку, проговорил отец. — Зачем старика тревожить. Вам, — кивнул он в нашу сторону, — учиться работать надо. Поэтому ешьте — и в кровать. Завтра раным-рано подыму — в поле пойдем. Ну и дед, если придет, пусть хоть в гостях побывает, заодно и про Мишку расскажет. А то съездил, обженился парня и нем как рыба.

Отужинав, мы с Костиком вышли на мост. Там около дверей на поветь стояла высокая деревянная кровать, накрытая плотным домотканым пологом.

Ночь была теплой и тихой. Даже черемуха, разросшаяся подле ограды, не шелестела листами, не шуршала ими о дощатую стену. За огородом в ольховнике неуемно настынивали соловьи.

Брат, убегавшийся за день, быстро угомонился и тихохонь-

ко засопел. Мне же не давала заснуть ссадина на левой ноге — гвоздем около телятника зацепил. Чтобы как-то забыться и не чувствовать боли, я вслушивался в соловьиные трели, стараясь сосчитать, сколько же соловьев поселилось за нашим домом. Но то ли они перелетали с места на место, то ли так искусно и часто меняли свои голоса, — мне никак не удавалось их сосчитать. Я снова и снова сбивался и начинал сначала...

Неожиданно с улицы донеслись негромкие голоса. Я приподнялся на локтях и, не открывая полога, чтобы не напустить комаров, стал вслушиваться. С улицы все отчетливее и отчетливее стал доноситься знакомый девичий говорок. Ему вторил мужской бас. «Может, к учителю кто приехал», — подумалось мне, когда стали слышны не только голоса, но и шаги.

Я уже хотел нырнуть с головой под одеяло, но вдруг тоненько скрипнула калитка, и нежный женский голос спросил:

— Здесь они живут?

— Туточки!

— Так уже спят, тревожить неудобно.

— Чего такого! Сейчас еще напугаем.

Ожидая, что начнут громко барабанить в запертую входную дверь, я сжался в комочек и на всякий случай сильнее укрылся одеялом. Но подошедшие ко крылечку застучали в окно. От осторожного дробного стука стекла в раме тоненько задребезжали, в избе послышались шаги.

— Кто там? — робко спросила мать, выйдя из избы.

— Открывай, не спрашивай! — хрипло и растянуто ответил кто-то с улицы.

— Кого надо? — не спускаясь по лестнице к тяжелому березовому запору, переспросила мать. — Если к учителю, так он дальше живет.

— Беглые мы! Из тюрьмы сбежали — на ночлег просимся!
— за дверью запрыскали и захихикали.

Я не вытерпел и, выпрыгнув из полога, встал рядом с матерью.

— Иди, Митька, открай, — шепнула она мне на ухо и взяла в руки стоящее в углу коромысло с острыми коваными крючками на концах. — Если чего, ломану по башке — и жить наплевать. А там и батько проснется, услышит, спит, черт, без задних ног.

— А может, папку разбудим?

— Иди. Не беглые это. Те бы не стали расхочатывать.

Открывать двери среди ночи, да еще неизвестно кому, было одинаково страшно и интересно. Засов, обычно легко ходивший в массивных железных скобах, будто прилип к ним, не подаваясь ни в ту, ни в другую сторону.

Мать стояла наверху и, сжимая в руках коромысло, молча

подбадривала меня.

Наконец-то засов передернулся, и дверь отворилась. Я, ожидая увидеть подвыпившего и почему-то обязательно небритого мужика, от неожиданности шарахнулся в сторону. Передо мною встала черноволосая улыбающаяся девушка с крупными выразительными глазами.

— Здравствуйте! Испугались?

— Здорово живешь, — с нерешительностью ответила мать.

— А ты кто такая?

— Мы в гости к вам, — спокойно ответила черноволосая и шагнула вверх по ступеньке. — Не признаете, что ли? Миш, а Миш! — обернулась она на улицу. — Хватит прятаться! Выходи, а то меня без тебя непускают...

— Мишка! — обрадованно вскрикнула мать. — Мишка приехал!

Она бросилась навстречу гостям, выронив из рук коромысло. Оно с грохотом прокатилось по ступенькам.

— Испугались? — весело спросил дядя Миша, вырвавшись из объятий матери. — А это жена моя — Алла. Не узнали ее?

— Да где узнаешь, — затараторила на радостях мать. — Дед у вас побывал, а фотографии не привез. Бабушка даже расстроилась из-за этого. Карточку, мол, специально не взял, чтобы людям не показывать. Наверно, мол, Мишке какая-нибудь страшная девка досталась... А ты вон какая у нас, Аля, красавица.

— Не Аля, а Алла, — поправил ее дядя Миша.

— Да нет-нет, зовите, как вам удобнее. Мамаша, например, меня Алевтиною величает...

Мать, подхватив Аллу под руку, повела гостей в дом. Из под полога ошалело выскоцил Костик и, сообразив, в чем дело, бросился в объятия дяди Миши.

— Это кого тут черт по ночам носит? — встал с кровати отец, протирая заспанные глаза. — А мы уж тебя, Михаил, потеряли. С ума все сходили, покуда дед тебя не повидал...

— Ой, бесстыжий! — набросилась на него мать. — Разве гостей-то в кальсонах встречают? Да с Алей, с Алей поздоровайся! Или не видишь —не один он приехал.

Отец натянул штаны, рубаху, поздоровался за руку с гостью.

— А у тебя, брат, губа не дура! — подмигнул он дяде Мише.

— Такую красавицу искать да искать надо!

— Надо было приехать, — кокетливо проговорила гостья.

— А то одного папашу отправили.

— Некогда было, — причмокнул губами отец. — У нас в деревне завсегда забот полон рот.

Мать засуетилась на кухне, стала собирать на стол.

— Не надо ничего! Мы только поужинали! — попыталась

остановить ее невестка.

— В гостях побывать да за столом не посидеть? — возразил ей отец. — Али мы хуже других живем? Чем богаты, тем и рады.

— Если так, — ответила гостья, — тогда я помогать буду хозяйке. Айда, мальчишки, за мной!

Четвером мы быстро заставили весь стол едой. Мать выставила бутылку водки, принесла из чулана новенькие рюмки. Дядя Миша с отцом выпили, пригубила немного и мать, а гостья наотрез отказалась:

— Нельзя мне.

Мать, подождав, когда мужики закусят, вновь стала наполнять рюмки, но отец замотал головой.

— Михаилу наливай, он гость. А мне хватит, пожалуй! Рука завтра тяжелая будет — накриуляю еще, и вся работа наスマрку...

Мать встала из-за стола, подала дяде Мише рюмку и всплеснула руками.

— Мишка! Встань-ка, я на тебя посмотрю! В плаще-то я тебя и не заметила, во что ты одет...

Дядя Миша покорно встал со скамейки и отошел в сторону от стола.

— Ой! — вскрикнула мать, приложив ладони к груди. — Да ты никак стиляго стал! Люди говорят, стиляги да стиляги... Кто такие, не знала, не ведала. А тут на тебе — брат родной! Федор, а Федор, — обернулась она к отцу, — глянь-ко, штаны до чего узки! У тебя кальсоны и то шире будут.

Мать обошла улыбающегося дядю Мишу кругом.

— А правда ли говорят, что их, когда напяливают, ляжки мылом натирают?

После этих слов гостья заливисто засмеялась, прикрыв лицо ладонями, и спелыми земляничинками загорелись ее крашеные ногти.

— Да нет, — сквозь смех проговорил дядя Миша. — Без мыла обхожусь.

— А ботинки! — не переставала удивляться мать, оглядывая его с ног до головы. — Носки-то у них, будто шилья! На калачик похожи, которым наш конюх от нечего делать лапти да пестери ковыряет. Поди, Мишка, у тебя в таких ботинках и пальцы тюриком свернуло? А рубаха! Ей-богу, у Настасии Семеновны платок такой есть — сын из Москвы ей прислал. Такой же, с петухами...

— Так и рубаха из платков сшита, — пояснила Алла, не переставая смеяться. — Я сама шила.

— Ладно тебе мужика охавивать, — кивнул на рюмку отец. — Угощать надо, а ты смотрины устроила. Чего нравится, пусть то и носит.

— Ему вчера еще мать с отцом все уши пропели, — пояснила невестка. — Чудаковатые они, моды не понимают. Отец только усы крутит да про какой-то скапидар вспоминает. А мамаша — та вообще заявила: если ты, говорит, Мишка, в таком одеянии покажешься, удавлюсь, ни тебя, ни себя не пожалею...

— А чего, правильно она говорит, — не отрывая глаз от цветастой рубахи, заметила мать. — Ты уж завтра рано, Миша, на улицу не выходи, а то всех коров распугаешь, и куры от такого твоего виду разлетятся кто куды...

— Да переоденусь я, у меня с собой трикотажный костюм есть, — пояснил дядя Миша. — А в этом, — хлопнул он себя по облегающим ноги штанам, — самая последняя мода. Правда, пацаны?

Мы пожали плечами, а меня вдруг разобрал смех. Мне представилось, как завтра утром, увидев дядю Мишу, закудахтают и полетят по разным сторонам куры, а петух — непременно на печную трубу и тревожно закукарекает.

Нас с Костиком отец прогнал спать на полати, а сам, отставив в сторону рюмки и ополовиненную бутылку, еще долго сидел с дядей Мишой.

— Чего ты нашел там хорошего? Переезжал бы вместе с Аллой в пятистенок. Полупустой ведь стоит. Или здесь жить хуже? Деньги платят, да и немалые...

— Слышал я о твоих деньгах.

— Ну и что? Плохо разве?

— Маловато.

— А тебе больше платят? Что-то я сомневаюсь в этом.

— И сомневаться нечего! — покачал головой дядя Миша.

— На-ко, глянь мой комсомольский билет. Там за два месяца зарплата указана, взносы с нее брали.

— Сто... сто шестьдесят. Сто восемьдесят, —не сразу заговорил отец. — Так это за что тебе платят? Ты же больше нашего директора, пожалуй, получаешь...

— Как за что? За работу.

— Что ты там делаешь?

— Лампочки по городу вкручиваю в светильники, трансформаторы тряпочкой протираю... Линии электрические ремонтируем, подстанции. Много всякого. Но я в восемь прихожу в цех, а в шесть уже в общежитии. Вот еще распишемся — квартиру дадут. С ванной, с газовой плитой и, наверно, с балконом...

— Так вы еще не расписались? — удивленно спросила мать, сидевшая с гостьей на кровати.

— Пока нет. Через месяц, — смущенно ответила Алла.

— Да, — покачала головой мать. — Отчаянная ты девка!

— Какая уж есть, — пожала плечами гостья.

— А вот у нас сразу после войны было такое, — начала

мать, облокотившись на дужку кровати. — Приехал один в гости к кому-то. Видный мужик, с медалями. Ну и подкатил он к одной девке молодюсенькой. Сначала так ходили, а потом он к ним жить перешел. И ох как ее мать супротив такого была! Но тот, как лисонька. Замаслил ей глазки, говорит, мол, увезу Марийку с собой, там и свадьбу сыграем. Месяца три или четыре пожил у них, и стали они собираться. Поехали. Билет на поезд купили, сидят на вокзале. А у него чемоданишко немудрененький был. Он и говорит ей, посторожи, мол, его, я поезд пойду посмотрю. Ждет-пождет она, а его нет и нет. Глянула Марийка в окошко на уходящий со станции поезд, а ей муженек-то ручкой из вагона помахивает. Так и осталась она с чемоданом, в котором пара портков драных была, да с брюхом... Ни адреса, ни денег не оставил. Домой едва добралась.

— Нашла чего рассказывать, — выслушав ее, буркнул отец.

— А у меня Миша не такой, — бодро ответила невестка. — Он такого себе не позволит.

— Ни в жисть! — подмигнул ей дядя Миша.

— Ну что, спать ложимся? Завтра на прополку и окучку картошки пойдете с нами?

— Обязательно, — утвердительно кивнул дядя Миша. — И отец хотел подойти, только позднее, не с самого утра...

Сорняков в картошке было немного, но работалось поначалу медленно. Отец приказал не только выдергивать высунувшиеся из земли осотины, но и складывать их в кучи, относить на закрайку участка.

— Чтоб около самой картошки ни единой травинки не оставалось! — предупреждал он, поглядывая на нас.

Немного погодя работать стало веселее. К нам на помощь, кроме гостей, пришел Прокоп Захарович, затем подбежали Петька и Нинка Стрекоза. А когда отец завел трактор и стал ездить с окучником вдоль картофельных всходов, появился и дед Фрол. Он прошелся меж свежих, парящих на солнце гребней и, подойдя к нам, отправил Костику за лопатой.

— Кой-где руками подправлять надо. Машина, может, и неплохая, но нежности, ловкости ей не хватает...

Дед Фрол взял лопату и стал исправлять неровности в гребнях, выравнивать бороздки.

Там, где была посажена картошка со школьного опытного участка, дед остановился и отчаянно замахал руками отцу.

— Слыши, Федорко, может, здесь лошадкой окучишь? Больно уж баска тут выходит...

— Ну нет, папаша! — возразил вышедший из трактора отец.
— Надо, чтобы везде одинаково сделано было. Тогда уж точно узнаем, какая картошка больше родит. А то тут лопаткой, тут

лошадкой, а тама трактором — неравноправие получается...

— Тогда как-нибудь потихоньку, осторожнее, — не стал перечить дед Фрол.

Он, давая дорогу трактору, отошел в сторону. Окучник легко и мягко поплыл меж рядов. Жирные, рыхлые пласти вальами накатывались на картофельную ботву. Дед Фрол неотступно семенил за трактором, жестикулировал руками. Он то показывал ладонью, чтобы отец двигался вперед, то грозил пальцем, призывая к осторожности, то тряс над головою огромным костлявым кулаком и снова принимался за лопату.

К вечеру вся картошка была прополота и окучена. Мы с Петькой и Нинкой Стрекозой, не заходя в избу, прямиком убежали на речку. Купались недолго, но, прия домой, не застали ни дяди Миши, ни его жены.

— Собираяться ушли, — пояснила нам мать. — Им завтра уезжать надо. В отпуске будут — подольше погостят.

— Нечего губу тянуть — сами виноваты, — с прищуром посмотрел в нашу сторону дед Фрол. — Убежали без спроса, вот и прошляпили дядю Мишу... Садитесь за стол, чай, весь день не едали.

Отец, сидевший за столом рядом с дедом, подвинул нам большую тарелку окрошки. Мы принялись за еду.

— А ты, Федорко, молодец, — заговорил дед, отодвинув с края стола пустую рюмку. — Когда у нас жил — картошки, считай, вовсе не садил, не занимался. Больше все у меня на помо- чах бегал. Я уж, грешным делом, думал, что не выйдет из тебя путного хозяина, что мужик, мол, Симке так себе попался — ни рыба ни мясо. Ошибся, видать, в тебе, да и крепко.

— Скажешь тоже! — навалился на стенку сидевший напротив Прокоп Захарович. — Он у нас, пожалуй, на всю деревню самый хозяйственный. Учитель наш и тот хвалит, а у него пустого слова не бывает...

— Дивлюсь, Федорко, дивлюсь я тобою, — раскачивал головою дед Фрол.

— Чего тут дивного? — бодро заговорил отец. — Я у тебя как жил? В приемках ходил! Что мне говорили, то я и делал. А здесь я сам с усам. Тут все мое: и изба, и огород, и участок. Что хочу, то и ворочу! Потому и стараюсь, чтобы и самому впросак не попасть, и Евсеича не подвести...

— Дай-то бог, чтоб у тебя и дальше все чередом шло, — похлопал его по плечу дед Фрол. — А как к сенокосу готовишься?

— А чего к нему готовиться? — снова вступил в разговор Прокоп Захарович. — Косы да грабли имеем! А там — сила есть, ума не надо! Коси, не ленись!

— У вас проще, конечно, — передернул усами дед Фрол. — У вас Евсеич, он не обидит. А у нас Мамонович и прошлый год

начинал с сенокосами давить, а нынче уже с весны страшать начал. Только, говорит, на десять процентов буду давать. А это значит, нам со старухой, чтобы коровку продержать, надо не мене двадцати стогов поставить. А где мы стоко сумеем? В жисть не накосить!

— Да ну, где там! — согласился с ним Прокоп Захарович.
— Многовато.

— А ведь он, — продолжал дед Фрол, — на полном сурьеze страшает. Иван Сергеевич — кузнец-то наш — и в райком по этому делу с личным вопросом ходил.

— Ну и чего выходил? — живо поинтересовался отец.

— Пустые хлопоты в казенном доме получились. До секретаря-то его не допустили. Краля там, оказывается, перед дверями сидит... Заместо сторожихи, наверное. Она Ивана и сцепала за рукав: куда, мол, без спросу и приглашения прешься? Деньто у Зубова не приемный. Дала она кузнецу от ворот поворот и сказала, чтобы он, если особо нужно, в четверток с девяты до одиннадцати приходил.

— А может, его и не было на месте — вот и не пустили, — усомнился отец.

— Кого? Зубова? — переспросил дед. — Да он мимо Ивана Сергеевича проходил дважды и даже глазом на него не повел, будто и не видел мужика. Разозлился кузнец, обложил крепким заковыристым словечком сторожиху и домой без оглядки, чтобы в милицию не забрали.

— Чего он у вас артачился, этот Мамонович? — сконфуженно заговорил Прокоп Захарович. — Вылез из грязи в князи, вот и показывает свой норов, смотрите, мол, какой я начальник бо-о-ольшой!

— Ничего, ничего, — облегченно выдохнул дед Фрол. — Иван Сергеевич тоже не лыком шит! Он письмо в Москву направлять собирается, а мы всей деревней подпишемся. Там разберутся...

— Нас учитель тоже пугал: тяжко, мол, с коровами будет, — вымолов отец, скрестив на груди руки. — А я, не будь дураком, взял да и подъехал с таким вопросом к Евсеичу...

— Ну и как? — уставился на него дед Фрол.

— На бойтесь, говорит, без сена никто не останется! Прошлый год накосили и нынче накосите. А вот еще картошку мою посмотрит, думаю, Евсеич вовсе к нам подобреет. На днях побывать обещался, проверить, как окучено.

— Надо бы тебе, Федорко, и директора как-то сюда позвать. Убедится он своими глазами, что ты в самом деле сурьеzно картошкой занялся, а не просто баклуши бьешь, может, и зарплату прибавит...

— А может, и к ордену потом представят, — без особого

сомнения проговорил Прокоп Захарович.

— А чего? Запросто! — подтвердил дед Фрол. — У нас Мишке Макуненкову лонись невесть за что выписали... Работал наравне со всеми, вроде бы и не переломилшибче других, а к осени орденок пожаловали... «За дружбу народов», кажись, называется.

— Видимо, дружбу навел с кем надо.

— Да ну вас! — отмахнулся от них отец. — Еще по рюмке выпьете, так скажете, что мне героя в пору давать.

— Да это мы так, к слову, — усмехнулся дед Фрол. — Чем черт не шутит — может и так обернуться. А директору надо участочек показать... Может, он подскажет что-нибудь, под научит. Башка-то у него, чай, твоей неровня, коли в начальниках ходит. Да и к тебе, Федорко,уважения и доверия больше будет. Учись не только работать, но и работу свою людям показывать.

— Он сразу после посадки приезжал, а теперь и подавно побывает, — ответил отец, угощая конюха и деда папиросами.

— Скажи-ка, Игнатьич, — выпустив тонкую струйку дыма, заговорил Прокоп Захарович, — как у вас кукурузка произрастает? Вы же ее до лешего посадили, говорят, все поля на коленках исполосали...

— Грех и смех с этой рассадиной, — скупо ухмыльнулся дед Фрол. — Не растет, зараза, и все тут! Хоть молоком парным ее поливай! Вышла с четвертинку, пожелтела и стоит, будто осока прошлогодня. Пятьсот гектаров ее — и все как один к одному! Такой ячмень на этих полях рос, а ноне — пропала землица, ничего с нее не возьмем... А ваш-то Евсеич молодец, всех вокруг пальца обвел с этой кукурузой. Сколько у вас ее?

— Гектаров пятьдесят, не более, — не задумываясь, ответил Прокоп Захарович. — Да и то на самом дальнем починке, чтобы никто не видел. Тоже ничего не растет, только где избада дворы стояли, да еще на старом огороде что-то зеленеется...

Выпив еще по одной рюмке, мужики разошлись. Дед Фрол, когда отец пошел провожать его за деревню, еще раз напомнил ему про начальство.

Дня через три отец радостно сообщил:

— Завтра гостей к нам наедет — тьма-тьмущая! Совещание какое-то в совхозе, а после него сам Зубов вместе с директором и управляющим картошку приедут смотреть. Евсеич так и сказал: готовься к приему высокого начальства.

До самого вечера отец не выпускал нас с картофельного поля. Мы бродили меж ровных островерхих гряд и выдирили

оставшиеся кой-где сорняки.

— Митьяка! — зыркнул на меня отец, когда мы вернулись домой. — Найди-ка мне цветных карандашей да линейку!

— Ты что, папка, рисовать будешь?

— Чертить! — поправил его отец. — Погреб для картошки хочу сделать. В голове-то он у меня сложился, обдуман, а теперь на бумагу изложу — пусть начальство обсудит мою идею. Может, и подскажут что-нибудь...

Я порылся в своем столе, навыгребал из-под старых исписанных тетрадей горстку карандашных огрызков и обляпанные кляксами линейку.

Отец достал с полки свою, как он называл, бухгалтерскую книгу и, полистав ее, отложил в сторону.

— Бумаги еще надо, из этой тетради нельзя вырывать — на будущий год снова записывать буду.

Я понимающе кивнул и снова юркнул в свою комнату.

Чертил отец долго и усердно. Мы с Костиком пытались заглядывать ему через плечо, но он, чтобы мы нечаянно не подтолкнули и не испортили чертеж, отгонял нас прочь.

— Отойдите и не мешайте! Дело ответственное!

А утром, прознав, что к отцу в этот день приедет начальство, к нам заявился Прокоп Захарович. Выглядел он необычно. Вместо завсегдаших кирзовых сапог с побелевшими и плоскими носами на ногах конюха были начищенные до блеска полуботинки. Одет Прокоп Захарович был в темно-коричневый костюм.

— Смотри-ка, — весело стрельнул он глазами на отца, — важным ты человеком стал, Федор! Слышал, что сам Зубов к тебе наведаться решил, собственной персоной.

— А что бы ему и не побывать! — ухмыльнулся отец, рассматривая в зеркало чисто выбритое лицо.

— Я вот тоже пришел повидаться с начальством, — пояснил конюх, присаживаясь на скамейку. — Насчет сенокоса да и вообще о жизни поговорить. В такую даль редко к нам заезжает, посмотрю хоть на путных людей.

Отец, поглядывая в окно, натянул на себя новую рубаху, примерил одни, другие штаны, потом откинул их в сторону и достал из сундука свой свадебный костюм — подарок хромоногого Шурки-гармониста.

— Ты как свататься собрался! — с усмешкой заметил Прокоп Захарович, оглядев отца с ног до головы.

— А чтобы видели, что и мы тут не лыком шиты, не беднее всех живем!

Отец разгладил влажной ладонью складки на пиджаке и брюках, плеснул на волосы и плечи «Тройного» одеколона и усился у окна.

Вскоре под окнами нашего дома появились две запыленные легковушки. Они просигналили и остановились. Мы спешно выскочили на улицу вслед за отцом и Прокопом Захаровичем.

— Ну что, Федор Кузьмич, показывай свою работу! — обернулся к отцу сидевший впереди Николай Евсеевич, когда машины остановились около уходящих к перелеску картофельных рядов. — Да не стесняйся, говори, что есть, что думаешь.

— А чего мне бояться! — рассмеялся отец, открывая дверку легковушки. — Вроде бы не провинился ни в чем.

Но к нашему удивлению, он, поздоровавшись с директорм совхоза и Зубовым, стушевался: запереступал с ноги на ногу, а потом начал сбивчиво рассказывать о своей работе.

— А там, — отец протянул руку в сторону утина, — картошка лучше этой взошла. Пройдемте, посмотрим?

— Я и отсюда все вижу, — сухо ответил Зубов и пристально уставился на управляющего. — Удивил ты меня, Николай Евсеевич, своими действиями.

— Так я же вам давно говорил, что удался мой опыт, — деловито пояснил управляющий. — А если к осени все нормально будет, Федор Кузьмич нас еще не так удивит. Такой урожай соберет, что весь совхоз картошкой завалит.

— Это уж точно, — подтвердил директор совхоза. — Раз старается, значит, получится.

— А я к осени-то хочу погребушку построить, — хвастливо заметил отец. — Семена в ней буду хранить. Сусеки сделаю, чтобы каждый сорток знал свой шесток. У меня уже и чертежик есть. Может, посмотрите...

Отец развернул сдвоенный тетрадный лист и протянул его Зубову.

— Гляньте, Александр Михайлович! Я сам-то не строитель, но с мужиками советовался — говорят, должно получиться.

Секретарь райкома нехотя взял чертеж, свернул его вчетверо и сунул в боковой карман.

— Так, говорите, опыт удался?

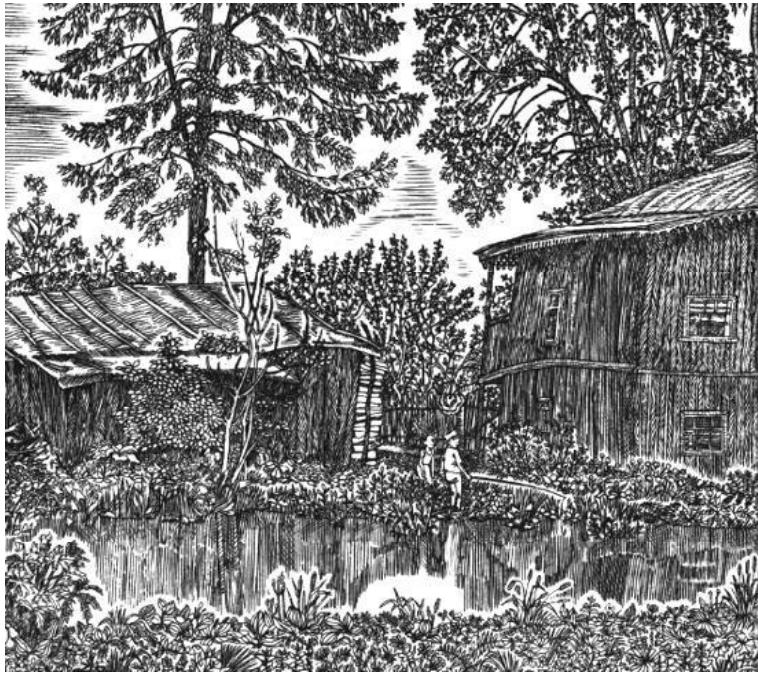
— Сами убедились!

— Убедился! Обобщать его будем, — строго проговорил Зубов. — И чем быстрее, тем лучше. И... с самых принципиальных позиций!

Директор совхоза и управляющий, почуяв что-то неладное, сразу переменились в лице, сникли.

Прокоп Захарович, видя, что разговор уже подошел к концу, подступил к Зубову с расспросами:

— А насчет сенокоса как ноне будет? А то нас учитель пугает — не дадут, мол, для себя сенокосить.



— А тебе что, много сена надо?

— А то как же! Корова у меня, теленок, овечушки... Не бедно, слава богу, живу.

— Ну и коси старайся! — усмехнулся Зубов. — Но... сначала для совхоза! Телятник вот обеспечишь сеном, потом и себе заготовляй.

— Теля-а-атник, — удивленно протянул Прокоп Захарович. — Да на его всей деревней не накосить будет!

— Работать надо получше!

— Да, — немного помолчав, снова заговорил Прокоп Захарович, — сена, говорите, много ли мне надо? Много! Я еще, хотите знать, и свинью с прошлого года сеном кормлю.

— Что-то новое. У них тут все, что ли, такие чудаковатые? — обратился Зубов к Николаю Евсеевичу.

— Ничего тут нового нет! — насупил брови Прокоп Захарович. — Зачем зря много картошки да хлеба переводить? Сено в соломорезку пропускаю и кипятком зашпариваю: хоть сам ешь получается! Ко мне вся деревня на соломорезку ходит — режет, как бритва...

— Интересно, где же ты ее приобрел?

— Как где? Евсеич, дай бог ему здоровья, не запретил мне

ее прибрать. За фермой в логу года три валялась. Туда новую привезли, а эту выбросили как негодный элемент...

— Так, так, — Зубов с прищуром посмотрел на пригорюнившегося Николая Евсеевича. — Дальше рассказывай!

— Осмотрел я ее, спросил разрешения и домой приволок. Ножи в кузнице отточили, как новые стали. Работает, словно часики! Только сено подбрасывай!

— Что глаза опустили? — зычно крикнул на директора и управляющего Зубов. — Развели бардак, что и самим стыдно стало! У вас на всех фермах соломорезки есть?

— На всех вроде бы, — вытянулся директор.

— Так на всех или вроде бы?

— Да где обо всех-то узнаешь — тридцать ферм по совхозу, кроме телятников. Зоотехника надо спрашивать.

— Так вот, эту забрать и увезти туда, где не имеется или старая. Сегодня же!

— Как увезти?! — взъерепенился Прокоп Захарович. — Кабы я ее не приbral, она бы в землю вросла.

— Лично проконтролирую!

— Ну уж нет! — не отступал конюх. — Это как получается? Валялась — никому не нужна была, а как Прокоп отремонтировал — отбирать? В таком разе я ее сейчас же обратно в лог брошу — пусть догнивает!

— А этого, предупреждаю, делать нельзя. Под суд можешь попасть. Во-первых, за похищение, а во-вторых, за порчу со-вхозного имущества.

Прокоп Захарович махнул рукой и побрел к деревне.

— Хороши у вас опыты, Николай Евсеевич! — покачал головой Зубов. — От кукурузы, значит, всеми правдами и неправдами отказывался, агронома на свою сторону перетянул. А землица-то здесь, — кивнул он на картофельные ряды, — в самый раз для нее... Обманывали, получается! С ферм у вас соломорезки тащат, и вы еще этому потакаете. С картошкой анархию развели, от коммунизма в обратную сторону потянули? Где, в каком решении или документе написано, что вот так, — Зубов показал рукой на отца, — работать можно? Вы на всю область меня опозорите! Так вот, через неделю заседание бюро будет — обоих приглашаю. Опыт ваш обобщать будем. Партийные билеты на всякий случай с собой имейте...

Зубов одернул пиджак и быстрым шагом направился к машине.

— И чего он сегодня как белены объелся? — вполголоса проговорил Николай Евсеевич.

— А шут его знает! — отозвался директор, пожимая плечами.

— Не надо было сказывать ему ничего... Выкопать бы картошку, тогда и обмолвиться.

— Я как лучше хотел. Думал, посмотрит и кому-то другому предложит такое. А оно вон как обернулось!

— Чего теперь со мной будет? — робко спросил отец.

— Работай пока, а там увидим, — успокаивающее ответил Николай Евсеевич.

— Нет, так не пойдет, — хмыкнул директор. — Раз не положено, значит, не положено. Придется, наверное, картошку бригаде передать. А то нас всех за такую самодеятельность на воблу пересушат. Ишь, как разошелся! Да еще конюха черт за язык потянул с этой соломорезкой! Ладно, поехали! Слыши, погрохатывает... Как бы под грозу не попасть.

— Поехали, Федор! — пригласил отца управляющий.

Но отец отказался. Он неподвижно стоял на краю поля и смотрел куда-то в даль. Его волосы трепал легкий июньский ветерок. Из-за леса доносились глухие раскаты грома.

— Ну что, мужики, отработались? — не глядя на нас, проговорил он. — Ничего, ничего. Теперь она уже и без нас вырастет... В силу вошла. Вырастет.

Oколо дома нас уже поджидал Петька.

— Женяка приезжает! — с радостью сообщил он.

— Какой?

— Племянник дяди Егора. Он каждый год сюда ездит. В кино с ним сходим, в войну поиграем. Во какой Женяка! — Петьяка высоко поднял большой палец, замотанный окровавленной грязной тряпцей.

— Обрезал? — прищурившись, спросил его Костик.

— Да-а-а, — растянуто ответил Прокопенок. — Отец засставил ножи с соломорезки снимать... Там и обрезался. Острые они. А саму соломорезку он на телегу погрузил и зачем-то увез за деревню и в силосную ямубросил. Злющий, спасу нет, — озираясь вокруг, проговорил Петька. — Мне кнутом своим ни с того ни с сего по спине выписал. Ох, как больно было! А ножи эти солидолом зачем-то смазал, завернул в тряпку и спрятал на чердаке...

— А когда Женяка приедет? — поинтересовался Костик.

— Через неделю. Они телеграмму сегодня прислали. Встречать будем.

За домами не переставали глухие раскаты, словно там камни ворочали. Не стихли они до самого вечера.

— Гроза где-то идет страшная, — пояснила мать, собирая на стол.

— Хоть бы к нам не пришла...

Но гроза так и не собралась, обошла нашу деревню сторо-

ной. А утром, когда мы с Костиком провожали в поскотину Зорьку, около дома остановился трактор.

— К тебе, Федор, приехал! — пояснил отцу тракторист, стараясь перекричать рокот мотора. — За инструментом.

— За каким?

— Сажалку, копалку и все прочее велено от тебя увезти. Распоряжение на этот счет есть, и наряд выписан. Велели сказать, что каюк твоей частной собственности пришел.

— Решили так решили, перечить не буду, — согласился отец. — Только копалку-то зачем туда-сюда волочить? Сейчас увесьешь, а через месяц обратно надо тащить.

— А мне что? — пожал плечами тракторист. — Что мне велено, то и делаю. Сказали увезти — увезу, скажут привезти — привезу. Какая мне, к черту, разница — зарплата идет, и ладно! Где у тебя эти причиндалы?

— У телятника под навесом. Да поосторожнее, а то все извирахаешь!

Тракторист бойко заскочил в кабину и порулил к телятнику...

Через неделю Егор Васильевич поехал встречать гостей. Мы помогли ему запрячь в высокий плетеный тарантас длинногривого рыжего мерина, наносили в корзину старого сена — чтобы сидеть было мягче — и стали поджидать Женьку.

Томилин долго не возвращался. И только под вечер, когда по деревне замыкали возвращающиеся из поскотины коровы, по полю заплыл тарантас.

— Едут! — восторженно заорал Петька.

— Едут! — тоненько вторила ему Нинка Стрекоза. — Пойдемте коров закроем, а потом и встретим их все вместе.

Они с Петькой, схватив попавшие под руки хворостины, побежали встречать своих коров. Мы с Костиком остались на взвозе конюшни. Домой Зорька пришла сама, оторвала рогом калитку и встала в ограде.

Под угор лошадь спустилась быстро, а после моста через Журавку заутиралась изо всех сил. Егор Васильевич громко понуждал ее и размахивал вожжами.

С тарантаса спрыгнул высокий, одетый в спортивный трикотажный костюм брат Егора Васильевича. Затем рядом с ним появился курчавый темноволосый мальчишко. Он был в коротких трусах, на боку у него болтался фотоаппарат...

— Неужто настоящий? — прошептал Костик.

Увидев бежавших навстречу Петьку и Стрекозу, мальчишка встрепенулся и оторвался от тарантаса, побежал вперед, обгоняя тяжело идущего мерина.

Рядом с Егором Васильевичем сидела пышная круглоголовая девчонка. Из-под берета, похожего на матросскую бескозырку, выбивались две плотные косички, в которые были вплетены широкие голубые ленты.

Егор Васильевич, минуя конюшню, подъехал к дому и остановил лошадь, выставил на лужайку большой чемодан с блестящими металлическими уголками, потом еще несколько тяжелых пузатых сумок.

Петьяка, опередив гостей, подбежал к поклаже, схватил в обе руки по увесистой сумке и, согнувшись в три погибели, понес их в дом Томилиных. Егор Васильевич накинул вожжи на столбенок и вместе с гостями ушел в избу.

— Пойдем домой, — позвал меня Костик тоскливым голосом.

Мы нехотя стали спускаться по взвозу, представляя, как Петьяка сидит сейчас у Томилиных и за обе щеки уминает гостинцы. Нам было обидно, что он сразу же забыл про нас: вертелся около телеги, а ни разу даже не взглянул в нашу сторону. Мы уже скрылись за углом телятника, когда сзади раздался резкий пронзительный свист и послышался Петьякин голос:

— Митька! Где вы?

Не дожидаясь ответа, Петьяка вприпрыжку бежал к нам. За ним, не отставая ни на шаг, шлепал сандалиями мальчишка, привехавший в гости к Егору Васильевичу.

— Вы чего утекли? — переведя дух, спросил Петьяка. — Вот они, Костик и Митька, — кивнул он в нашу сторону и посмотрел на Женьку. — Они теперь здесь живут. Во-о-он в том доме...

— А нам уже дядя Егор писал, — без всякого удивления ответил Женька и вынул из кармана несколько маленьких, будто лакированных, баранок.

— Угощайтесь! Очень вкусные, с маком. Во такие! — Петьяка снова задрал вверх большой палец. — Я уже пробовал... А еще, еще он нам всем по пистолету привез. Как настоящие, пистолетами стреляют. Правда, Женька?

— Да, четыре пистолета, — подтвердил гость. — Они у папки в чемодане лежат. На самом низу... Иришка чаю попьет и распакует, а мне папка не разрешил: ты, говорит, все там перебутишь.

Баранки были очень вкусные, ароматные. Мы ели их и не отрывали глаз от дома Егора Васильевича — не выйдет ли Иришка с пистолетами. Но она, как назло, не появлялась.

Наконец-то дверь отворилась, и на крыльце вышел Егор Васильевич, а затем и Женькин отец.

— Бежим! — скомандовал Петьяка. — Сейчас пистолеты получим!

— Ура! На лошади прокатимся! — присвистнул Женька и

сломя голову понесся впереди всех к таrantасу.

— Привет, сорванцы! — громовым голосом встретил нас дядя Валентин. — Давайте знакомиться.

Он, не вставая со скамейки, протянул нам свою широкую пятерню. Рука у него была сильная, заскорузлая.

— А ты угостил ребят? — строго спросил он Женьку, усаживая нас рядом с собою.

— Ага! Баранками.

— А ну-ка, слетай в дом! Там конфеты в сумке есть.

— Дядя Валентин, — сморщил лицо Петька, — а мы пистолеты ждем.

Женькин отец покачал головой и, шлепнув ладонью по своему гравастому затылку, скрылся за дверями. Вернулся он быстро.

— Сейчас Ирина найдет, — словно бы извиняясь перед нами, проговорил он и присел на ступеньку. — Эх! — вздохнул он полной грудью и посмотрел на сидящего рядом брата. — Быстрей бы сенокос! Соскучился я что-то по этой поре...

— Чего-чего, а это быстро подойдет, — ответил Егор Васильевич и, прищелкнув языком, добавил: — Нынче, говорят, хуже с сенокосами будет. Был бы Евсеич, тогда еще можно на что-то надеяться...

— А где он? Повысили, наверное?

— Съели мужика.

— За что?

— А пойди — разберись! На днях в районе им чистку устроили. Евсеича из партии выгнали да и с работы вытурили. Директору совхоза строгача вкатили за самоуправство и бесконтрольность и треть оклада урезали, чтобы впредь неповадно было... Евсеича прямо из райкома в больницу увезли — сердчишко прихватило. Месяца три пролежит...

— Так из-за чего все же?

— За то, что делал не так, как начальству надо было. Вот и погорел.

— Жалко мужика. Толковый управляющий был.

— Да, — согласно кивнул Егор Васильевич. — И работало он с нами два года, а на всю жизнь, пожалуй, запомнится. При нем все сразу закрутилось, завертелось, а то ходили, как сонные мухи.

— А кого на управляющего теперь метят?

— Вроде бы Пашку Симакова.

— Кто такой?

— Да ты не знаешь. Но если его поставят — труба дело. Сам без хозяйства живет, бобыль бобылем, и другим не даст...

— Ну, разнылся, — усмехнулся дядя Валентин. — Может, еще лучше Евсеича будет.

— Нет уж, — твердо проговорил Егор Васильевич, — тако-го не будет.

Дверь на крыльце отворилась, и позади дяди Валентина появилась голенастая Иринка с пистолетами в руках. Они были голубого цвета и не железные, а пластмассовые, легкие.

— А пистоны где? — уставился на нее Женька. — Они тоже там были.

Иринка молча вынула из кармана небольшую бумажную коробочку и подала брату.

— Смотрите, осторожнее с этими пукалками! — предупре-дил нас Егор Васильевич. — Запалите еще что-нибудь или сами без глаз останетесь!

— Не запалим! — ответил за всех Петька и, высококо подняв руку, хлопнул из пистолета.

— Надо было и Нинке привезти, — пролепетал Костик, тщетно пытаясь зарядить в пистолет ленту с пистонами.

— Она у нас медсестрой будет, — зыркнул на него Женька.

— Ей главное раненых спасать...

Дня через два после приезда Женьки мы всей ватагой пошли пастушить. Коровы ходили около овина. Они не разбегались по сторонам, а смирно бродили по взгорку, по лощине. Наша Зорька, наевшись, поднялась наверх и легла. Затем грузно опустилась на лужайку корова Трофима Феофановича.

— Сейчас все лягут, — самоуверенно сказал Женька. — Давайте в прятки играть. Я первым искать буду.

Едва мы разбежались за углы овина, на другой стороне ложбинки появилась Юлька-письмоноска:

— Эй, пастушата! Коровы убежали!

— Чего врешь! — отозвался Женька. — Все здесь!

— Идите-ка сюда! Скажу что-то...

Мы выскочили из своих укрытий, огляделись по сторонам: все коровы были на месте.

— Айда, сходим! — предложил Петька, и мы ринулись че-рез лощину.

— Хотите, новость скажу? — лукаво улыбаясь, встретила нас письмоноска.

— Говори!

— А газеты разнесете? И письмо Настасье Семеновне?

— Разнесем, — нехотя ответил Женька. — Вот коровы уля-гутся, тогда.

Юлька поставила у своих ног большую почтовую сумку и вынула из нее пачку газет.

— Не перепутайте и письмо не потеряйте! А новость такая: завтра я на свадьбу к Настинке пойду. Она за ихнего зоотехни-

ка замуж выходит...

— Ну и новость, — поморщился Женька. — Наверное, у нас сегодня коровы больше ложиться не будут. Только сейчас отдыхали...

— Кино сегодня в Журавлихе показывать будут! — неожиданно для нас выпалила Юлька. — Это я вам хотела сказать. А про свадьбу так, к слову...

— Не обманываешь?

— Да нет же! — усмехнулась Юлька и еще раз наклонилась к сумке. — Вот и афиша. Киномеханик велел ее на амбаре повесить, чтобы все видели.

— Ура! — крикнул Петька и с афишей, словно с флагом, понесся к овину. — Ребята, давайте газеты! Я сейчас мигом обернусь!

Он сунул их под рубаху и, прыгая через кочки, убежал в деревню.

Вечером пошли в кино. До Журавлихи было километров пять. Нинка Стрекоза до половины пути шмыгала носом и размазывала по лицу слезы. Мать никак не отпускала ее вместе с нами, но Нинка все-таки вырвела, добилась своего.

Лесом идти было боязно — из-за чего мы редко ходили в клуб, но рядом с Женькой мы не испытывали страха. Он гордо вышагивал впереди нас, постреливая из пистолета.

Мы всей гурьбой уселись на первую скамейку. Но кино было неинтересным, про любовь. Нинка Стрекоза сначала заживала головой, а затем и вовсе заснула, навалившись на мое плечо. Потом закемарил и Костик. С задних рядов слышался смех, плыл волнами табачный дым.

— Может, домой пойдем? — шепнул я Женьке.

Но он отмахнулся, не отрывая глаз от экрана.

— Досмотрим, или зря пришли?

После кино в клубе стали играть в «номерки». Ненадолго решили остаться и мы. Парни и девки постарше пулей носились по клубу, опасаясь ремня, а нас почему-то никто не выкрикивал.

Мы с Костиком, придя домой, не стали заходить в избу. На цыпочках зашли в чулан, выпили по кружке молока с черным хлебом и на ощупь забрались на поветь. Там с вечера была приготовлена нами постель — набитый соломой матрац и большое ватное одеяло.

Сначала было знобко, и мы укрылись сглуха, а потом, отогревшись, высунули носы наружу. Внизу под нами изредка попыхивала Зорька. Пахло молоком и свежим навозом, а сквозь щелеватую дверь виднелись редкие звезды.

Утром спросонья мы слышали, как мать, неторопливо и ласково приговаривая, доила корову.

— Зоренька, Зоренька, Зорюшенька...

«Дзинь-дзинь!» — словно отвечая матери, звенели стенки подойника.

Потом скрипнули двери, пулеметной очередью простоячи по полу ограды овцы, мерно постукивая копытами, и все стихло. Только где-то под крышей весело щебетали ласточки.

— Киношники-полуношники! — окликнул отец, заглядывая на поветь. — Пора и вставать. Оладьи на столе стынут, да и к деду Фролу идти пора — он за граблями заказывал.

Под одеялом было тепло, из-под него не хотелось вылезать, но и ослушаться было нельзя: потом ни в какое кино могут не отпустить. Мы, ежась от утренней прохлады, вбежали в избу. Отец сидел в прихожей и точил напильником большую двуручную пилу.

— Умывайтесь и за стол, — сказал он, не отрываясь от работы. — К деду сходите — хлам за двором распишите, а то потом некогда будет: сенокос начинается...

«Бом! Бом! Бом!» — внезапно донеслось с улицы.

— Какого там черта лысого принесло? — ворчливо проговорил отец. Мы кинулись к окну.

Около амбара стоял высокий мужчина в белой навыпуск рубахе и размазанно ударял шкворнем по подвешенному на проволоке старому лемеху.

— Мать честная! — изумился отец. — Да это же Пашка Симаков! Поставили!!! Как же, как же его по батюшке? Афанасьевич, кажется, или Андреевич... Вот зараза! А что делать? Идти надо, послушаем, чего он скажет.

Отец небрежно отряхнул штаны, напялил кепку на самые глаза и вышел на крыльцо. Ему, видать, не хотелось идти первым к амбару. Мы, забыв про стынившие оладьи, выпорхнули из избы, но отец кышкнул нас обратно.

— Делать там нечего!

К амбару потянулись мужики, потом подошли бабы и плотным кольцом окружили нового управляющего. Последним появился Трофим Феофанович. Он был в той же черной шляпе, в которой обычно ходил в школу. Подойдя ближе к толпе, он на мгновение приподнял ее левой рукой, обнажив лысеющую голову. Следом за учителем показался из-за телятника Петьяк с пластмассовым пистолетом в руке, позади него важно вышагивал Женька.

Увидав их, мы тоже побежали к амбару. Петьяк, когда мы оказались с ним рядом, защелкал пистолетом. Прокоп Захарович, стоящий с краю, дал Петьяку подзатыльника.

— Дай послушать людям!

Прокопенок юркнул в сторону и, приставив палец к губам,

предупредил и нас, чтобы не поднимали гвалта.

— Павел Афанасьевич, — донесся из толпы голос Шурки Толстобровой. — Как нынче сенокосить будем?

— В логах — руками, а в поле, думаю, и тракторами управимся, — громко ответил управляющий.

— Да не о том она, — поправил Шурку Прокоп Захарович.

— Себе как будем косить? Для своих-то коров?

— Вон вы о чем! — прищурнул глаза Симаков. — Для совхозного скота еще ни грамма не накосили, а уже о своих коровах печетесь! Ишь, куркули какие! Десять процентов, мать вашу, и не более!

— Да креста на тебе нет! — сразу же взвилась Шурка Толстоброва. — Это мне, чтобы на корову накосить, одной триста центнеров застоговать надо! Ты хоть подумай, чего мелешь!

— Подожди! — одернул ее Трофим Феофанович, протискиваясь ближе к управляющему. — Павел Афанасьевич, — не спеша начал учитель, — ты подумай сам-то: мыслимо ли это дело — десять процентов себе? Ведь без скотины люди останутся...

— Кто захочет, тот накосит! — оборвал его Симаков, глянув поверх толпы. — А не накосят — хуже не будет. На общую работу больше времени пойдет.

— Ты же историю изучал? — не отступал от него Трофим Феофанович.

— А при чем тут история и сенокос?

— При том, что даже при царе по-другому было. Половину урожая крестьянин оставлял себе, а половину отдавал. А сейчас чего получается?

— Не знал я и знать не хочу этих царских порядков, их уже давно революция отменила. Да и не к лицу тебе, учитель, такое говорить. Мы, можно сказать, к коммунизму вплотную подходим, а ты о частной собственности заботишься... Эх ты!

— Павел Афанасьевич! — снова вступила в спор Шурка Толстоброва. — А знаешь, мы как при Евсеиче работали? И в совхоз, дай бог, все бы так косили, ну и себе промеж делами сенокосили. Он нам всю Саврасову лощину отдавал...

— Вот! Вот! — погрозил пальцем Симаков. — Распустил вас Николай Евсеевич, развел тут частную собственность! И сам погорел, и директора под монастырь подвел. Это вы из него веревки вили, а из меня — не выйдет такого! Не на того напали. И Саврасовой лощине вам не видать как своих ушей. Расходились, мля! Десять процентов, и баста!

Симаков приподнял плечи и хотел было уходить, но Трофим Феофанович остановил:

— Да хоть Саврасову-то лощину не отбирай! Мы же сами ее расчищали, а то бы она кустарником вся заросла. Ни нам, ни

совхозу от нее проку бы не было.

— А ты-то, Феофанович, чего? — насторожился управляющий, уперев руки в бока. — Ты что рассусоливаешь? Ты кто для совхоза? Сбоку припека! Я вот еще огород у тебя посмотрю, что-то он мне шибко большим кажется. По твоему трудовому участию намного меньше должен быть. Ты же кто? Ин-тел-лиген-ция! Сколько тебе соток положено? А?

Трофим Феофанович, потупив взгляд, медленно отошел в сторону.

— Вот так-то, учитель, а то, понимаешь, раскукарекался! Думаешь, грамотный шибко? Не думаю... Все у меня по струнке ходить будете! Наведу я порядок!

— Все, мужики, — тихо проговорил Егор Васильевич, когда Симаков поравнялся с конюшней. — Отошла коту масленица. Этот зажмет — никто не пикнет. Я-то словно в воду глядел, говорил, что такое будет.

— А ты, Трофим Феофанович, зря высунулся с Саврасовой лощиной, — упрекнула учителя Шурка Толстоброва. — Выкосили бы втихаря — и знать бы никто не знал.

— У этого живоглота выкосишь! — сердито посмотрел учитель на окраину деревни, где шел Симаков, властно размахивая руками. — Он лоб себе в кровь расшибет, но своего добьется. А я ведь его в школе учили... Второгодником он дважды оставался, упрямый, как бык. Но ведь в начальники вышел.

— Тут, мужики, судить-рядить нечего! — решительно рубанул рукой Прокоп Захарович. — Как оказывается, на всякий яд противоядие должно быть. Надо думать о том, как этого олуха царя небесного на мякине провести. В одиночку тут ничего не сделать, сообща надо кумекать. Не должны мы перед ним в дураках остаться, что-нибудь да придумаем...

После этого Симаков еще несколько раз заявлялся в деревню, заглядывал в телятник, на конюшню и уходил обратно. Перед самым сенокосом он появился вечером и снова загремел по лемеху. На этот раз около амбара пробыли недолго.

— Ничего не изменилось насчет сенокосов? — игриво спросила тогда у Симакова Шурка Толстоброва.

— И не изменится! — сказал, будто обрезал, управляющий. — И чтоб мне тут никаких штучек-дрючек не вытворять! Административно предупреждаю!

Все замолчали и разбрелись до домам.

Встретив коров, мы всей ватагой решили идти в лес — грибы опровергнуть, но Прокоп Захарович остановил:

— Хватит, ребята, собак гонять! Пора и за дело браться! Бегите и собирайте всех к амбару. И сами туда же приходите...

Собрались быстро. Косить решили общиной — с трех часов утра. Нинке Стрекозе и Иришке велели пасти телят, а нам

утром обойти все дома и выгнать коров в загон, потом идти на сенокос.

Вчетвером мы быстро справились с коровами, помогли девочкам угнать в лощину за пустовавшим домом и, сбивая босыми ногами обильную росу, умчались на сенокос.

— Помощнички идут! — увидев нас, заметил Женькин отец.

Он, широко размахивая косой, медленно поднимался в гору. Следом шел Прокоп Захарович, потом наш отец, Трофим Феофанович и Егор Васильевич. Трофим Феофанович осторожно положил косу на широкий, сверкающий росинками валок, взял топор и, плюнув пару раз на ладони, забрался в густой куст ивняка. Каждому из нас он вырубил по рогатине.

— Валки разбивайте!

— Ура! — закричал Женька и с рогатиной наперевес бросился к ближайшему валку. — В атаку! За мной!

Мы, ловко орудуя рогатинами, разбрасывали по сторонам сырую и тяжелую траву. Петька оказался хитрее. Он выбрал себе валок на самом угоре, где росли одни ромашки да маленькие кустики клевера.

— Отстаете! Отстаете! — дразнил нас Петька, уйдя далеко вперед.

— Не бахвалься! — уместно одернула его мать. — Там и раскидывать нечего — на всем покосе три травянины.

Работали мы задорно и весело, стараясь догнать кошенников. Но мужики и бабы косили без передышки, стараясь не упустить утреннюю росу. От раскиданной по лугу травы шла едва заметная испарина.

Управляющий появился неожиданно.

— Здорово были! — крикнул он с пригорка. — Хо-ро-шо начали!

На плече у Симакова висела деревянная мерка, похожая на большой школьный циркуль.

Все вяло ответили на его приветствие, не переставая размахивать косами.

— Вот так бы всегда работали! — подбодрил он косарей.

— Так, глядишь, и для себя накосите.

— Накосим! — вполголоса проговорил Прокоп Захарович, не поворачиваясь к Симакову.

Павел Афанасьевич попереминался с ноги на ногу, закурил и стал кольцами выпускать дым, поглядывая сверху.

— Эй, учитель! — мотнул он головой, глядя на Трофима Феофановича. — Иди-ка сюда!

Трофим Феофанович остановился, положил косу на валок, а лезвие ее прикрыл свежей травой.

— Иди, иди!

Учитель неторопливо направился к управляющему.

— Вот ты, Трофим Феофанович, больше всех бузу поднимал, Саврасову лощину хотел захватить, — начал Симаков, не выпуская изо рта папиросины. — А ты знаешь, я сейчас огород твой мерял. Так он у тебя на пять с половиной соток больше, чем положено. Как это называть? Детишек правде учишь, а сам кривдой занимаешься? Этак я понимаю... Ну, что скажешь?

— Я же его не прибавлял, не убавлял. Как был он десять лет назад, так и сейчас. Это хоть кто подтвердит.

— Не-е-ет, — с ехидной улыбкой погрозил пальцем управляющий. — Так больше не будет. Я тебе колышков в огороде навколоачивал — по ним и забор поставишь, перенесешь. Понял?

— Ты что, Пашка, офонарел, что ли? — показался из-за куста Прокоп Захарович. — Вот ты мне ответь, почему мы с ним рядом живем, по одной земле ходим, хлеб один и тот же едим, а осырки у нас разные будут? Он провинился в чем, что ли?

— Ты, Прокоп, не встревай, коли не просят, — огрызнулся управляющий. — Законы читать надо! Там все понятно написано — у кого сколько соток огород должен быть. И не больше! Понял? Он-то, — Симаков кивнул на учителя, — знает. Дураком только прикидывается. Чтоб через неделю забор был перенесен!

Управляющий круто развернулся и, что-то насвистывая себе под нос, пошел вдоль подступающего к лощине поля.

— Дубина стоеросовая! — крикнул ему вслед Прокоп Захарович.

— Я тебе покажу дубину! — обернулся Симаков. — Ты у меня еще попляшешь за это!

Конюх крепко сжал кулаки, хотел еще что-то крикнуть управляющему, но Трофим Феофанович остановил:

— Не надо, Прокоп, не связывайся! Сам же в дураках и останешься...

— Ну уж хрен ему! — выпалил Прокоп Захарович и, крепко сжимая кулак, согнул руку в локте. — На-ко, Пашка, выкуси!

Симаков, не оборачиваясь, скрылся за березовым перелеском. Прокоп Захарович проводил его колючим сердитым взглядом и с укором посмотрел на учителя.

— Трофим Феофанович, ты же грамотный, толковый мужик. Чего ты ему слова поперек боишься сказать? Пристращал бы. Чего он над нами измывается? Сказал бы ему, что к директору или в райком пойдешь жаловаться, — сразу бы, наверное, язык прикусил. Думается мне, что он перед начальством не так, как перед нами, — на цыпочках ходит...

— Некуда, Захарыч, идти жаловаться, — покачал головой

учитель. — По сути дела он прав. Огород у меня, как у служащего, и в самом деле меньше вашего должен быть. Так по закону положено. Да и с сенокосом Симаков как бог... Как задумает, так и будет. Не даст сенокосить и, представь себе, правым окажется. Потому что действует-то он по указаниям сверху, по теории нашей... К коммунизму же идем — ко всеобщей собственности. Вчера вот в районной газете читал: многим руководителям выговоров по партийной линии вкатили. И, думаешь, за что?

Прокоп Захарович вопрошающе смотрел на учителя, разминая в руках папиросу.

— За то, что скотину держат! Даже инструктор райкома партии Сорокин выговор схлопотал — свинья у него была.

— Это лысый-то, маленький?

— Он самый!

— Ну уж ему-то зря. Мужик он хороший. Сколько раз я с ним встречался. Хоть и не партийный я, но всегда поговорит, порасспрашивает. Все растолкует, расскажет. Поговоришь с ним — будто у попа на исповеди побываешь...

— Поэтому, Прокоп Захарович, не Симакова тут проказы и капризы, политика такая пошла. Он ее исполняет.

— А! — махнул рукой Прокоп Захарович. — Политика, политика! Неужто она на то направлена, чтобы мне хуже было? Да ни в жизнь не должно быть такого! Я вот эту политику так понимаю. Вон — наша деревня, здесь — наши лога, поле, лес, река. И все это должно чередом идти. И в домах лад, и в огородах, и в полях, чтоб не хуже, чем у других. Вот как я политику вижу. Живем мы хорошо — значит, и она хороша, а плохо — то и политика никуда не гожа. И тыфу на все эти разговоры вместе с Пашкой этим... А вы чего тут расселись? — обернулся к нам Прокоп Захарович. — Речей моих не слыхали? Зовите-ка всех — домой пора правиться. Вечером еще приедем.

Мы мигом облетели лощину. Мужики удивлялись, что Петькин отец с самого утра никому отдыха не давал — курили и то на ходу, а тут сам с панталыку сбивает.

— А ну его, лешака! — выругался Прокоп Захарович. — И коса после его в руки не идет, будто оговоренная стала. Вечером дотяпаем. Он же, бабоньки, у Трофима Феофановича огород обрезал. Колышков там, говорит, навтыкал.

— Да что ты говоришь? — удивленно спросила Настасья Семеновна, пытаясь разогнуть натруженную спину. — Поди, Прокоп, шутишь?

— Шучу-шучу, — лукаво усмехнулся конюх. — У тебя-то курочек скоко по ограде бегает?

— Двенадцать да петушок.

— Ну-ну, тогда и ты дожидайся. Он и тебя, должно быть, раскулачит. Куда тебе одной столько? Две-три курочки, и хватит. Правда, мужики? А то с яичек-то она, того и гляди, за парнечками забегает.

— Типун бы тебе на язык, Прокоп! — отошла в сторону Настасья Семеновна. — Ишь, чего придумал, — над старухой насмехаться! Ты бы вон Шурке зубы-то заговаривал. Она помолже будет.

— Домой, что ли, пошли? — переспросил Женькин отец. — Тогда я останусь — еще покошу. А то что за сенокос, коли кости не ломит. Помахаю, пока роса совсем не сошла, а мальчишки траву пораскидывают. Так, сорванцы?

Остался на покосе и Егор Васильевич.

Пока мы носились с рогатинами вдоль валков, оставляя позади себя разбросанную по всему лугу траву, дядя Валентин и Егор Васильевич дважды проходили с угора до ручья и поднимались обратно. Косили они не торопясь, но широко.

Вечером, когда в деревне пригнали и подоили коров, вновь стали собираться на покос. Все стояли с косами на плечах около овина и ждали Соболевых. Ни Прокопа Захаровича, ни его жены не было.

— Где у тебя батька с маткой? — зыркнула на Петьку Шурка Толстоброва. — Иди-ка, вытури их! А то семеро одного не ждут.

Петька нехотя поковылял домой, но тут же остановился как вкопанный.

Из калитки навстречу ему выходила мать.

— Ой, бабы, — затараторила она, — мой-то, наверное, с ума свихнулся! Весь день дома не было. Думала, лошадей ушел проверять или по грибы, а он, харя бессовестная, в предбаннике сидит и лыка, окаянный, не вяжет. Напился...

— Ничего, бывает, — попытался успокоить ее Женькин отец. — Оклемается.

— Да он один-то у меня век не пивал! Силой не заставишь, а тут на тебе, набрался до опупения. Хотела уж косьевищем отходить, да косьевища на дурака жалко.

— И на старуху бывает поруха, — прохрипел Егор Васильевич. — Пойдемте, что теперь делать, — не казнить же его! Еще успеет, накосится.

— Трофим Феофанович, — дернула за рукав учителя Петькина мать, — пойдем до него. Ты хоть ему, бестолочи, внуши, пристыди его. Тебя-то он послушает...

Трофим Феофанович передал косу Шурке Толстобровой и молча пошел за женщиной. Она всю дорогу что-то ему бойко говорила, поглядывая на строгое лицо учителя.

Он подошел к предбаннику и отворил прокопченную ще-

леватую дверь.

— Ты посмотри, посмотри на него! — высовывалась из-за плеча Трофима Феофановича Прокопова жена. — Ты хоть скажи, глаза твои бесстыжие, что за праздник у тебя сегодня? Налопался-то с какой стати?

— Аньотка, кыш! Не мешай! — откинулся на стену Прокоп Захарович, похлопывая ладонью по скамейке. — А ты, Трофим Феофанович, присядь со мной, посиди.

— Люди уж косят давно, а ты посиделки затеваешь! — не унималась жена. — Сам не работаешь и другим не даешь! — Уймись, Аньота! — прикрикнул на нее Прокоп Захарович.

— Я кому сказал, помолчи! А ты, Трофим Феофанович, — Петькин отец виновато глянул на учителя, — ты уж извини меня за это дело. Не хотел, ей-богу, не хотел... Душа разрывалась, вот и выпил. Извини, учитель, не вытерпел, не смог. Но я не подведу никого — пойду сейчас вместе со всеми...

— Пошли, пошли! — снова высунулась жена — Там дурь-то из тебя быстрее вылетит!

— Может, поспиши, Захарович, отдохнешь? — спокойно предложил ему Трофим Феофанович.

— Нет! — погрозил пальцем конюх. — Не было такого, чтобы я где-то отлынивал... И не будет такого!

Прокоп Захарович встал со скамейки и, пошатываясь, пошел вдоль деревни туда, где уже зазвенели косы. Учитель несколько раз пытался подхватить его под руку, но Петькин отец не давался.

— Я, Трофим Феофанович, не пьян. Я сейчас косить буду. А косу на меня взяли?

— Вон Анна несет, — ответил учитель, показывая рукой на идущую стороной Прокопову жену.

— Да, теперь вижу, что несет, — кивал конюх. — А вот ты скажи, Феофанович, хорошая у меня баба, а? Я думаю, что лучше моей да твоей нигде нету... И искать нечего! Не найти...

Погода была как по заказу: жаркая, ветреная. И на третий день трава в том лугу высохла, зашуршала под ногами. Ее ворошили и сгребали в валки всей деревней. После полудня начали копнить...

— Может, сразу метать будем? — предложил Женькин отец, оглядывая задумавшихся мужиков. — Чего время терять?

— Н-н-нет, — остановил его Прокоп Захарович. — Метать завтра начнем. Раз он все наперекояк для нас делает, то и мы на хитрость пойдем. Черт с ней, с Саврасовой лощиной, выкосим и ее, дай бог сил да здоровья, но и себя попробуем не обидеть. Вот те четыре валка покуда не складывайте, — показал он

рукой в вершину лога. — Вечером скопним. Чтоб басурман этот не знал, сколько тут было копен.

Сказав это, Прокоп Захарович пошел проверять стожары, а мужики принялись подносить копны.

Когда все было сделано, Петькин отец, не говоря ни слова, поманил нас пальцем.

— Задание вам, ребята, даю особой важности. Вы здесь до вечера поиграйте и в оба глаза по сторонам глядите: появится Симаков или нет? Если придет, виду не подавайте — бегайте, как бегали, только копны не мните. И заметьте, если придет, — копешки пересчитывал или нет. Поняли?

— Поняли!

— Тогда действуйте! Будьте как на посту, а вечером мы вас сменим.

Мы носились по логу как ошалелые. Вначале играли в прятки, скрываясь друг от дружки в смородинных и ивовых кустах, а потом Женька предложил:

— Давайте с парашютов спускаться!

И он тут же с кошачьей ловкостью взобрался на высокую гибкую иву, схватился обеими руками за вершину и медленно склонился на ней до самой земли.

Его затея привела нас в восторг, и мы тоже стали осаждать деревья. Ивы под нашей тяжестью изгибались дугой, касаясь вершинами скошенного луга.

Петька на этот раз опростоволосился. Он решил спараптировать с высокой тонкой осины. Она была почти без сучьев, и только на вершине большим зеленым блином шелестели листья.

Петька с трудом вскарабкался по гладкому стволу осины до верхних веток и, ухватившись за них, крикнул на всю лощину:

— Ур-р-ра! Смотрите!

Но, едва он опустился ногами от ствола, дерево сухо треснуло, переломилось, и Петька вместе с вершиной полетел вниз.

Упал он в лужу с мутной и ржавой водой, заросшую густым молодым пестовником.

Мы жутко испугались, камнями слетели с деревьев и сломя голову понеслись к нему, думая, что он или зашибся, или утонул. Но осиновая вершина зашевелилась, и из-под нее вылез Петька. Он с ног до головы был в блестящей болотной жиже, будто натянули на него резиновый водолазный костюм. На его перемазанном лице углами горели глаза.

— Видали, как надо прыгать! — сквозь шелест листвы и бульканье воды услышали мы знакомый Петькин голос.

Мы сразу же поняли, что он не ушибся, и засмеялись вместе с ним. Но прыгать с деревьев больше не стали.

Петьяка, оглядываясь по сторонам и едва заметно припадая на левую ногу, снял с себя всю одежонку и стал полоскать ее в ручье.

— Мальчишки! Где вы? — прописклявила сверху Нинка Стрекоза.

— Идите к ней! — шептал нам Петьяка, забираясь поглубже в кусты.

— А вы знаете, мальчишки, какого Ирина медведя слепила? — не спускаясь с угора, хвастливо заговорила Стрекоза. — Большого, как настоящего. С глазами и с носиком. Пойдемте, покажу! Красивый, такой пушистый-пушистый...

— Никак нет! — по-военному козырнул ей Женька. — Мы на посту стоим — сенокос охраняем!

— От бандитов, что ли? — захихикала, затрясла косичками Нинка.

— Чего смеешься? Мы и в самом деле сенокос сторожим, — вынырнул из кустов Петьяка. — И пока нас не сменят — никуда не пойдем.

Вскоре появились и мужики.

— Симакова не было? — подходя к нам, спросили они первым делом.

— Никак нет! — отчеканил Женька. — Такие на нашем горизонте не появлялись!

— А ты, Петьяка, где лазил? Мокрющий-то какой! — удивился Прокоп Захарович, глядя на сына.

— Споткнулся ненароком и в яму шандарахнулся, — виновато пояснил Петьяка, поправляя прилипшую к телу рубаху.

— Ребята, берите грабли и подгребайте за нами, — глухо проговорил Егор Васильевич. — Да живее и почище!

Сено сложили в шесть больших копен.

— Как, мужики, делить будем? Всем по копне?

— Пусть трое сегодня по копне увезут, а остальным в следующий раз накосим, — предложил Егор Васильевич. — Так незаметнее будет.

— Правильно! — поддержал его наш отец. — Чего с одной-то копней на телеге кататься.

— Тогда кому сегодня везти? — прищурился Прокоп Захарович.

— Может, Трофиму Феофановичу, Шурке да Настасье Семеновне? — немного подумав, предложил Егор Васильевич.

— Нет! — резко возразил Петьякин отец. — Трофиму Феофановичу сегодня нет резону везти. Вдруг Симаков поймет, с потрохами его съест. Снова скажет: в совхозе не работает, а сено тащит, да еще попервее всех. А насчет баб правильно — пусть везут. На них подозрение меньше падет — одни все-таки живут, без мужиков. Ну еще Федору или тебе, Егор, можно...

— Пусть Федор сегодня везет, — кивнул на отца Егор Васильевич. — Он все-таки у нас новожил.

Так и решили.

Придя в деревню, Прокоп Захарович долго бродил вокруг большой широкой телеги, смазывая оси густым вонючим дегтем.

— А ну-ка, ребята, — позвал он нас, — протащите немногого. Не скрипят ли колеса?

Мы вчетвером впряженлись в оглобли. Телега шла легко и беззвучно.

— Порядок, — самодовольно проговорил Соболев и унес на конюшню банку с дегтем. — Беречь надо, теперь часто нужен будет.

Он вынес из конюшни дугу, хомут с седелком, вожжи и положил все на телегу. В ограде стояла, переступала ногами приведенная из выгона лошадь.

Когда мы с Костиком вернулись домой, в избе было сумрачно и тихо.

— Свет не включайте! — строго предупредил нас отец, поглядывая в окно.

Мы беззвучно скользнули на кухню, налили по кружке молока и сели за стол.

Под окном привидением промелькнула лошадь с телегой. На облухах сидели Шурка Толстоброва и Егор Васильевич. Она правила лошадью, а он придерживал рукою, чтобы не брякали большие деревянные вилы.

— Шурка поехала, — вполголоса произнес отец. — Теперь нам караулить надо, когда Настасье Семеновне повезут. А потом уж и мы поедем.

— Настасья, если мы провороним ее, в окончко стукнуть хотела, — отозвалась мать.

Спать мы пошли на поветь. Но едва задремав, внизу услышали шуршание, а потом приглушенный голос отца:

— Тпру! Глянь, Сима, наверное, близко подъехал?

— Ничего, как-нибудь откидаем, — тихо ответила мать и, стараясь не скрипнуть дверями, забралась на поветь.

Отец расприжимил воз и подал наверх первый пласт сена. Мать перехватила сено короткими железными вилами и откинула в сторону.

Во дворе беспокоились, цокали копытами овцы, взмычала корова.

— Тише ты, Зорька! — прошептала мать. Она едва успевала за отцом, и мы с Костиком, сообразив, в чем дело, вскочили с постели и принялись помогать.

— В угол, в угол относите, — едва слышно проговорила она. — На вилы только не наткнитесь.

Мы, сталкиваясь друг с другом, охапками носили пахучее легкое сено. Оно щекотало голые коленки, забивалось под майки.

— Спите! Завтра снова рано разбудим, — сказала мать, когда все сено было отметано.

Утром мужики и бабы вновь раным-рано ушли на покос, а мы снова выпускали со дворов скотину. Проходя мимо конюшни, посмотрели на телегу у ворот. Она стояла на прежнем месте, уткнувшись оглоблями в низкорослые цветущие ромашки. На телеге будто веником было подметено — ни единой сенинки. Только на толстых деревянных спицах висели шмотья свежей непросохшей грязи. Дорога, ведущая к логу, была испещрена телячьими следами...

Через неделю зарядил дождь. Лил он несколько дней подряд. В один из таких серых ненастных дней Трофим Феофанович пришел к нам.

— Федор Кузьмич, — обратился он к отцу, — помоги забор переставить: одному несподручно. А срок-то уже проходит...

Отец попытался было отговорить учителя, что, мол, управляющий сгоряча дуру такую гнал и давным-давно забыл уж, наверное, про огород.

— Или ему клочка земли жалко?

— Вчера заходил, — глубоко вздохнув, ответил Трофим Феофанович. — В избу не заявлялся, а по оконшку меркой побрякал и в сторону огорода рукой показал.

— Вот сволочь, — сплюнул отец и, накинув на плечи брезентовый дождевик, ушел вместе с учителем.

Непогода наконец отступила, и в лугах снова запели косы. В тот день мы собирались идти на луга и разваливать валки, но нас остановили.

— Ребята, берите топоры и дуйте на Чудиновский выселок, — распорядился Прокоп Захарович. — Там в углу поля тропинка в лес идет. Вот и шуруйте по ней до лощины, справа от дорожки рубите все кусты подряд и в кучи складывайте. Поняли?

— Поняли!

— Найдете?

— А то как же! — бодро ответил Петька. — Я там бывал!

— Тогда валяйте! Да не лениитесь и траву сильно не мните.

Мы рассыпались по домам, чтобы взять топоры, а Женькин отец крикнул вдогонку:

— Корзины захватите! Грибов там, говорят, хоть лопатой греби!

Спустившись в лощину, мы сразу же взялись за топоры. Кустов было немного: около холодного, едва приметного в



высокой цветущей траве ручья большими зелеными караваями рос буйно ивняк да на взгорке выступали из леса молодые осинки и березки.

Работали задорно. Вырубив один куст, наперегонки бежали к другому. И уже далеко позади нас был чистый зеленый луг с возвышающимися над ним кучами срубленного нами ивняка и осинника.

— Может, хватит? — спросил Женька, усаживаясь на упавшую в лощину сухую полуистлевшую березу.

— Нет! — строго и деловито ответил Петька. — Надо еще столько вырубить — тогда хватит. А то много ли на этом лужке накосится? Коровы на две, не больше! А надо на всех. Отдохнем и еще порубим.

Домой пришли, когда солнце уже переметнулось на другую сторону неба и висело низко над землей. В деревне никого не было, и мы, оставив дома топоры и корзины с обабками и крепкими плотными сироежками, направились вниз по Журавке.

— Как дела? — вопросом встретил нас Прокоп Захарович.

— Целый километр вырубили!

— Молодцы, ежели не врете! Теперь там наш сенокос будет. Был ничейный, а вы, значит, расчистили, освоили, как пишут в газетах. А теперь бегите обратно, коров уже скоро закрывать пора. А ты, Петька, на конюшню зайди и колеса у обоих телег смажь. Сегодня обе телеги нужны будут...

Дождь снова приостановил сенокос. Дня два, несмотря на холодную, почти осеннюю морось, мужики не переставали косить. Работали с утра и до вечера, а затем отложили косы в сторону — стали дожидаться погоды.

— Вы что бездельничаете? Косить надо! — стыдил мужиков появившийся в один из таких дней Симаков.

— Траву-то переводить?! — не уступал ему Прокоп Захарович. — Погода ишь какая — самая сеногнойная! А у нас того, что накошено, недели на две загребать хватит.

— Все равно косить надо! — стоял на своем управляющий.

— Павел Афанасьевич, — кутаясь в дождевик, обратился к

управляющему наш отец, — а картошечку-то надо было еще разочек окучить. Лучше бы выросла, да и сорняков меньше бы стало.

— А ты что, Федор, заботишься? Она ведь уже давно не твоя. Или снова хочешь денежки дармовые получать? Не выйдет! А не окучивают, значит, так надо.

Больше о картошке отец с управляющим говорить не стал, а в тот же вечер попросил нас хоть самые большие сорняки на участке повыдергать.

— А почему мы? — передернул плечами Костик. — Картошка-то уже не наша.

— Почему? Почему? — сердито передразнил его отец. — Потому, чтобы выросла хорошая! Потому, что мы ее садили!

Противиться Костик больше не стал. И, как только про светлели облака и промеж ними заскользило солнце, мы, собрав всю ребятню, отправились на картошку. Полоть ее было плохо. В некоторых местах среди осотника не видно было картофельной ботвы: все заросло, затянуло. В мелких бороздках глубоко вязли ноги, гребни месяц назад были ровными и островерхими, а теперь расползлись по сторонам, сровнялись.

На другой день на участок пришли только Петька да мы с братом. Женяка и Иринка отправились с дядей Валентином на почту посылки с сушеными грибами отправлять. С ними увязалась и Нинка Стрекоза.

Работать втроем было скучно.

— А ну их, Митька! — отмахнулся Петька. — Чего она, ваша, что ли? Позапрошлый год и без прополки выросла, да половину снегом завалило... Пойдемте домой!

— А вдруг папка заругает? — робко спросил Костик, поглядывая в сторону деревни.

— Ну, если уж забранится, — пожал плечами Петька, — завтра вместе с Женякой и девчонками сходим.

Но наши опасения оказались напрасными.

— Ну как, мужики, растет картошка? — спросил отец, увидав нас бегающими по осклизшей деревенской улице.

— Растет, — ответили мы, вжав головы в плечи. Мы ожидали, что он начнет допытываться, сколько мы пропололи и сколько осталось, а потом отругает нас за плохую работу, но отец молча покачал головой и тихо промолвил:

— Ну и хорошо — пусть растет...

Ytro было туманное-туманное. Мы провожали Зорьку в поскотину, подгоняя ее тонкой хворостинкой. Шла она медленно, то и дело сворачивая с дороги и наклоняясь к каждой лужице.

— Иди, иди — на реке напьешься! — приговаривал Кос-

тик, размахивая прутком.

Около моста через Журавку нас уже поджидали Петька и Женька.

— Вы чего долго телились? — выходя нам навстречу, спросил Прокопенок. — Мы уже за грибами собирались — вас поджидаем. Пойдете?

— Сейчас, только за корзинками сбегаем, — с ходу ответили мы Петьке.

— К Пронькину наделу сиганем.

— Это далеко где-то?

— Далеко, — согласился с нами Петька. — Но зато кукурузу посмотрим. Отец говорит, что она там выше нас вымахала...

— Ну и врать ты мастак! — не задумываясь, выпалил я. — Дед Фрол сказывал, что она нигде не растет... у них много-много было посажено.

— Много твой дед знает! — фыркнул Петька. — Мой отец врать не умеет. Так пойдете или нет?

— Пойдем! Но если ты нас обманешь, то... — важно заговорил Костик и остановился, придумывая, какое Петьке поставить условие, — то мою корзину с грибами обратно понесешь...

Сразу же за деревней Прокопенок стал поторапливать нас:

— Быстрее, ребята! А то, если солнышко будет выглядывать, мне сено в огородце велено ворочать.

— А мы тебе поможем!

В лесу Петька свистнул Соловьем-разбойником и помчался что есть мочи.

— За мной! За мной! — эхом раздавался его голос. Мы стремглав неслись по утоптанной коровами просеке, перепрыгивая через валежины. Прокопенок бежал впереди, размахивая словно шпагой, ивовым прутком.

— Вон она, кукуруза! — резко остановился Петька, когда просека вывела нас на закрайку леса. — Здесь!

Костик, выскочив вперед, огляделся вокруг и заприплясал перед Петькой.

— Проманул, проманул... Корзину понесешь! На поле-то ничего нету!

— Слепой, что ли! — обиженно посмотрел на него Прокопенок. — Да ты не под ноги смотри — дальше! Во-о-он туда, где Пронька-кулак жил. Видишь?

— Это она? — сощурились мы с Женькой, увидев посреди поля высокие зеленые стебли, издали очень похожие на камыши, растущие на берегах Журавки.

— Вот тебе и обманул! — весело рассмеялся Петька. — Кто теперь корзину понесет?

Он подошел к Костику и натянул ему фуражку на самый нос.

Кукуруза и в самом деле была выше нас. Кой-где она росла так густо, что мы едва протискивались меж толстых и плотных стеблей.

— Вот это да! — изумился Костик. — А чего она только тута, а не по всему полю выросла?

— Здесь же раньше кулацкое именье было, — пояснил Петька. — А он, буржуй, плохую землю не выберет...

— А ты откуда знаешь? — не отставал от него Костик.

— Мне еще дед мой рассказывал.

— А где он сейчас? — с любопытством посмотрел я на Петьку.

— Кто? Дед или кулак?

— Кулак, конечно.

— Так его же давно изничтожили, — с видом знатока пояснил Прокопенок. — Он у колхозников коров чем-то отравил: чуть ли не все сдохли. Его тогда и арестовали, повезли на лошади, а он в лесу наутек бросился... Но далеко не ушел — застрелили буржуя.

— Так ему и надо было! — восторженно добавил Костик.

— Будет знать, как коровок травить.

— Дом у него тут был — здоровенный! — продолжал рассказывать Петька. — Таких теперь у нас нету. Разобрали его и в район увезли. Кулачиха в бане жила, но недолго. Дед говорил, что она тоже чего-то опасалась и на березе повешалась...

Земля под нашими ногами была рыхлая, черная. Из нее проглядывались ноздристые прокопченные камни.

— Тут у них баня стояла, — пояснял Прокопенок и, повернувшись головой по сторонам, предложил: — Давайте в прятки играть!

— Чур, Костик водит! — выкрикнул Женька. — Бежим, прятаемся!

Костик сконфузился, но возражать не стал. Он нехотя поставил к ногам корзину и прикрыл лицо ладошками. Мы бросились по разным сторонам. Я бежал прямо на появившееся из-за леса солнце, раздвигая руками кукурузные стебли, и шагов через тридцать-пятьдесят остановился как вкопанный. Не подалеку от меня стояли, словно подпиная друг друга, старый засохший тополь и колодезный журавль — иструхший, щелеватый... На самом верхнем и толстом сукуне тополя сидела большая черная птица и что-то клевала у себя под ногами. Она на мгновение застыла, потом встрепенулась и, широко раскинув крылья, снялась с насиженного места. Под тополем и колодезным журавлем густо зеленела крапива, желтыми метелками силился, тянулся к свету конский щавель. Я подошел ближе к безмолвному тополю, с опаской поглядывая под ноги — не ухнуться бы в колодец. На уровне пояса ствол дерева был вкруговую подрублен топором.

— Ау! Иду искать! — послышался из кукурузы голос брата. Я, не зная куда деваться — Костик был совсем рядом, — сунулся под тополь в крапивные заросли. Подо мной захрустели сухие, ломкие ветки, напахнуло гнилью, мышами.

— Где вы? Ау! — еще ближе прокричал Костик. Он остановился на том самом месте, где я вышел из кукурузы, и по примятой крапиве мог легко отыскать меня.

— Здесь я! — откуда-то издалека отозвался Петьяка. Костик резко обернулся и юркнул обратно. Я выскоцил следом за ним и, потирая ожаленые крапивой руки, обернулся назад. Отсюда, издали, тополь и колодезный журавль были чем-то похожи на изнеможденных, выбившихся из сил путников, которые, упервшись плечом в плечо, не давали друг другу упасть...

Мы долго перекликались с Костиком, гоняя его из одного края в другой. Наконец он не выдержал и захныкал:

— Да ну вас! Неинтересно здесь играть — у овина лучше...

Домой шли, складывая попадающиеся по дороге грибы в набирихи.

Петьяка же чаще посматривал не под ноги, а поверх деревьев — не забывал про скошенную в огороде траву.

— Высохло, наверное, сено, грести, пожалуй, пора.

Висящее над нами солнце успокаивало, но когда мы вышли из леса, Прокопенок переменился в лице. Над деревней стояла низкая туча, а от нее до самой земли сходила белая парная полоса.

— Дождь идет, — вслух заметил Костик.

— Без тебя вижу! — озлобленно прошипел Петьяка. — Все, значит, батыка пороть будет...

— А мы тебе поможем! Все вместе мигом сделаем! — решил подбодрить его Женька.

— Во! — Петьяка крутанул пальцем у виска. — Кто же мокрое сено сгребает!

Дождя, к счастью, было немного, и вечером сено сгребли и сложили в копны. Но порки Петьяка не избежал.

Прокоп Захарович, вернувшись с сенокоса, увидал корзину с грибами и сразу же приступил к сыну:

— Ты где был? Я тебя посыпал за грибами? Из-за тебя, паразита, сено замочили... А ну, выходи из ограды!

Петьяка, понуро повесив голову, поплелся навстречу отцу.

— Ай! — взвыл он, когда отец стеганул его по заднице сложенным вдвое чересседельником.

— Еще у меня ты уйдешь куда-нибудь! Отпущу я тебя! — приговаривал Прокоп Захарович.

— М-м-мы, — замычал Петьяка, — кукурузу смотреть ходили.

— Куда? — переспросил отец и опустил руку с чересседельником.

— На Пронькин выселок, — хмыкнул, размазывая по щекам слезы, Петька. — В прятки маленько поиграли...

— В кукурузе-то? А ну-ка пошли в избу!

На крыльце Петька еще раз взывал не своим голосом, а потом все стихло.

Нас он догнал около дома.

— Ребята, — засопел он, — про то, что играли там, никому не говорите. Если узнает кто — оштрафуют. Завтра туда управляющий вместе с начальством из района поедут... Отецказывает, что кукуруза только там и выросла — больше нигде.

Через неделю в районной газете мы увидели фотографию Симакова. Позади него высилась кукуруза...

Дед Фрол появился неожиданно.
— Здорово живем, гаврики! — потрепал он нас с Костиком по вихрам и отложил в сторону пестерь.

— Грибы собирать, дедушка?

Дед Фрол хитровато прищурился и передернул усами.

— И не только за ними. На Пронькином выселке хочу побывать — кукурузу посмотреть. Уж что-то больно баско в газете расписали. У нас, сколько ее ни чистили бабы, не выросло ни шиша, будто и не садили ничего. Пойдете со мной? Али недосуг — работы, поди, мать надавала?

— А мы недавно там были, — вяло ответил Костик. — Мне неохота.

На выселок мы дошли вдвоем с дедом. Дед Фрол шел медленно. В лесу он не один раз присаживался отдыхать, а мне не терпелось быстрее выйти на поле.

— В ней и заблудиться можно! — хвастался я перед дедом.

— Высокая. А ты, дед, видал хоть ее?

— Приходилось, — вздохнул дед, — в двадцатом году. Вместе с Пронькой, который тут на выселке жил, от белополяков в ней прятались. Кабы не она, порубали бы нас панове. Ни патронов, ни харчей у нас не было — бери, как котят, голыми руками...

— Это кулак-то, что ли? — спросил я.

— Ладно, пошли! Не мели лишнего, — ворчливо проговорил дед Фрол и, поплевав на дымящийся окурок, пошагал дальше. — А ты откуда о Проньке знаешь?

— Петька-Прокопенок рассказывал.

— Пустомеля твой Петька! Не знает, а мелет, скапидар он этакий!

Я непонимающе посмотрел на деда и замолчал.

Обойдя участок кукурузы, мы подошли к тому месту, где стоял тополь. Его не было, и только из крапивы выставлялись корявые сучья. «Уронили?»

Около упавшего ствола трава была плотно утоптана. На ней валялись две пустые бутылки из-под водки, огрызки огурцов и клочки бумаги. Над всем этим роились мухи, вились полосатые осы.

— Начальство, видать, гостевало, — выразил догадку дед Фрол, усаживаясь на упавший тополь.

— Здесь, — дед Фрол кивнул на высокие заросли крапивы, — дом Пронькин стоял . Двор у него был, пимокатка... А где кукуруза выросла — огород евонный располагался. Сам он его от леса расчистил, чернозему с реки на себе горы перетаскал... Деловитый, хороший мужик был. Мы с ним с гражданской в один день домой приехали. Силища у Проньки была — черта сломит! Его тогда словно петух жареный клюнул — не захотел с родителями жить. Вот здесь место облюбовал, дом себе выстроил, поле распахал... Не один, конечно, с братаном, а потом и жена помогала... В гостях я у него бывал, — продолжил дед Фрол, прикурив папиросу. — Однажды не признал его. Иду, вижу: кто-то пеньки ворочает. Зверь не зверь, и человек не человек. На лице волосья — одни глаза светятся. «Это ты, Проня?» — спрашиваю, а сам рукой сзади за топорище держусь — мало ли что могло быть. «Я, — отвечает он. — Аль не признал?» — «Че, — спрашиваю его, — ты сам на себя не похож — будто лесной?» — « А меня здесь кто видит? Да и побираться некогда — работать надо». Сказал это, а сам скользится, обрадовался небось, что к нему гость пожаловал. Жена у него Нюшка была. Бой-баба! У нее, как у Проньки, в руках все горело. Половики да полотна ткала, дак таких не было, пожалуй, нигде. Красивые очень, аккуратные. Летом Пронька на пожне с зари до зари, а зимой валенки катал. Мастерово у него это получалось.

— А кукуруза эта не совхозная, — задумчиво глянул дед в сторону. — Это его, Пронькина. Он в земле, хоть и грамотешки было не густо, толк знал... Навозу, чернозему вбухал на огород — несть числа...

— А за что его арестовали?

— Тогда многих кулачили, резали под корень. Он единоличником был — не стал в колхоз вступать, наотрез отказался. И на его беду в колхозе в тот год несколько коровенок сдохло. Кто-то, скапидар этакий, сказал, что это, мол Пронькина работа. И пошло-поехало. Пимокатку у него сожгли, скотину свели со двора и в колхоз определили. А когда валенки ребячью отбирать стали, кинулся Пронька на милиционера, что, мол, делаешь — ребятишек без обувки оставляешь!

Ну и набутузили его, в кровь исхлестали, а потом руки скрутили и повели босого за конными санями по снегу. До Никольска не довели. Говорят, помер, а может, и застрелили, потому

как они с наганами все были... Нюшка, жена его, от горя в лесу повесилась, а ребятишек ихних куда-то увезли, ни слуху ни духу от них с того времени. Маленькие совсем были. Знаю, что самая младшая из них через полгода после отца от хвори померла.

Дед молча поставил меж ног пестерь, раскрыл его и вынул четвертинку водки и граненую рюмку. Он наполнил ее до краев и, перекрестившись, выпил до дна.

— Это, Митька, не кукуруза, — заговорил он снова. — Это так себе. Не такая она бывает. Да и выросла она здесь только на Проныкином огороде, а на поле-то чисто... Пустая это затея. Ей землица нужна да солнышко побольше...

Дед снова забулькал четвертинкой, но пить больше не стал.

— Пошли, внук, поближе к дому, — сказал он, поднимаясь с места.

— Дед, а вино забыл? — с удивлением выпалил я, увидев, что он оставил на высохшем и потрескавшемся стволе тополя рюмку водки и небольшую хлебную горбушку.

— Не забыл я, — обернулся ко мне дед Фрол. — Это Проньке. Не трожь!

Он, тяжело дыша, медленно направился к лесу. Шел дед тихо и молча. За всю дорогу он не промолвил ни единого слова и лишь перед самым домом спросил:

— Корову-то отец будет держать?

— Да, — без всякого сомнения ответил я и добавил: — Мы уже много сена навозили, да и еще привезем.

— Хорошо, Митька, хорошо, коля так. А мы сдавать будем. Мамонович совсем заел с этими сенокосами. Не дает и тяпнуть нигде, скапидар он этакий...

— А кузнец-то наш, — сокрушился дед Фрол, встретившись в деревне с отцом, — письмо в Москву написал, думал — разберутся, помогут... Только где там! Ворон ворону глаз не выклюнет. Письмо это обратно вернулось, к Мамоновичу в руки попалось, теперь он ему дает, за каждым шагом следит. Где тут посенокосишь...

Косить в лощине за Чудиновским выселком пошли в августе, когда на берегах Журавки все было прибрано. Прosoхшее сено сгребли, сложили в большие, похожие на стога копны.

— А ну-ка, Митька, отворачивайся к лесу и закрывай глаза! — скомандовал мне Егор Васильевич. — Сено выкрикивать будем.

Я отвернулся и закрыл лицо руками, а он стал хрипло выкрикивать:

— Эта чья? А та?

— Трофима Феофановича! Дяди Прокопа! Тети Настасьи!

— гордо встряхивая головой, отвечал я. Сено возили по ночам.

— Слава богу, все обошлось, — выдохнул Прокоп Захарович, когда в лощине не осталось ни одной копны.

— А и поймал бы, так что такого, — пожал плечами дядя Валентин. — Там же из года в год трава пропадала. Ребятишкам еще надо спасибо сказать, что расчистили...

— Ага, — с иронией покачал головой учитель. — Ох, бы как обошлось! Это не тот управляющий, что в прошлый год был. Этот такую бузу поднимет, что и сену не рад будешь.

За нашим огородом начинался редкий и молодой ельник. Между хилыми деревцами росла густая трава. И мы с Костиком, когда дома никого не было, решили ее скосить. Трава была грубой и срезалась косой с коротким сухим треском. Я старался размахиваться во все плечо, но у меня никак не получалось: коса впивалась то в муравьиные кочки, то в стволы разметавшихся по лугу елочек. Но мы не отступали. Скошенную траву не один раз на дно ворошили, а потом охапками сносили в ограду.

Симаков в деревне появился неожиданно. Он, поднявшись к амбару, застучал по железяке, созывая к себе всех.

— Сена ходил обмерял, — сказал он, небрежно помахивая веревкой, на конце которой была привязана небольшая гирька.

— Хорошо покосили. Лучше, чем в других деревнях. Но, — Симаков мотнул головой в сторону ельника, — там кто косил? И сено куды подевалось?

Все молчали и недоуменно глядели на управляющего. О том, что мы с Костиком там сенокосили, никто, кроме родителей, не знал.

— Чужие, наверное, приходили? Да? — переспросил Симаков.

— Да ребятишки мои, — виновато ответил отец. — Косить учились. А то уже скоро до женихов дорастут, а косу в руках держать не умеют...

— Ага! — вытаращил на него глаза Симаков. — А я тебе, Федор, по-другому скажу! Это они у тебя не косить учились, а воровать государственное. Понял, как я это расцениваю?

— Да брось ты чепуху молоть, — оборвал его Прокоп Захарович. — Тоже мне, прокурор нашелся! Чего ты детокто от земли отучаешь? Чего в душу им сызмальства плюешь? Радоваться надо, что они уже косы в руки брать начинают, а ты?..

— Это я плюю? — взвился Симаков. — А не наоборот ли получается? Это вы, уважаемые товарищи, на все законы и постановления плюете! А тебе, — управляющий погрозил пальцем конюху, — вот что скажу: все вы здесь вместе с учителем

вор на воре сидите и детей этому поучаете!

— Ты поймал, что ли? — не уступая, держался петухом Прокоп Захарович.

— Пока нет, если не считать этих, — управляющий мотнул веревкой в нашу сторону. — Но слово даю — поймаю! Отучу я вас от этих штучек-дрючек. Вы у меня отвыкнете от самоуправства, от самовольного кошения. Завтра же всех на чистую воду выведу! За все спрошу и по всей строгости, на законных основаниях!

Мы с Костиком, не дожидаясь окончания всей этой перебранки, виновато поплелись домой.

— Это ты все придумал, — с укором посмотрел на меня Костик, — из-за нас теперь и папке попало... Скажи, Митька, — перегородил он мне дорогу, — а почему он ругался? Или ему травы жалко? Ведь папка-то нас похвалил, когда мы траву домой принесли...

Симаков ушел, а на следующий день приехал на тарантасе вместе с участковым милиционером Клепиковым. Они, прогромыхав под окнами нашего дома, подкатили к конюшне и, привязав к воротам высокого черного мерина, направились к дому Трофима Феофановича.

— Митька, или это учитель самогонку гонит? — удивленно спросил Костик и вытянулся в окно. — Нет, дыму из бани не идет — так, значит, приехали...

Управляющий шел впереди, широко размахивая руками. За ним важно вышагивал в блестящих яловых сапогах участковый. На голове у него была форменная милицейская фуражка, а на широком кожаном ремне висела пузатая кобура.

— С пистоле-е-етом, — протянул Костик. — Вот бы посмотреть! Как думаешь, Митька, покажет он пистолет, если спросить его?

— Покажет, — не поворачиваясь к нам, сквозь зубы проговорил отец. — Это они сумеют — два сапога пара...

— Что это Симаков надумал-то, Федор? — испуганно спросила мать, не отрывая глаз от окна.

— А ты пойди и спроси! — огрызнулся отец.

Симаков и Клепиков подошли к дому учителя. Они потоптались у калитки, видимо, о чем-то договариваясь, и вошли в избу.

— Ишь, нашелся — шишка на ровном месте! И чего он к Трофиму Феофановичу привязался? — с негодованием проговорила мать.

— Ты язык-то свой укороти! — одернул ее отец. — Смотри! Глафира бежит. Не к нам ли?

Глафира Ивановна промелькнула перед палисадником и

повернула к нашему крылечку. Мать, не вытерпев, бросилась ей навстречу.

— Ой, батюшки! — донесся с мосту взволнованный грудной голос учительши. — Что делается! Что делается! Залез на поветь и все сено велит на землю скидать! Трофим уж к нему и так, и эдак — один ляд! Топает ногами, уперся как бык и слушать ничего не хочет. По всей деревне, говорит, пойдут, все повети обшарят...

— Федор! — заметалась по избе мать. — Мы-то что делать будем?

В избу вошел Прокоп Захарович. И Глафира Ивановна, вытирая носовым платком навернувшиеся слезы, стала сбивчиво рассказывать ему про Симакова. Конюх, выслушав ее, медленно стянул с головы кепку и присел на стоящую вдоль стены лавку.

— Так, так, — не поднимая глаз, заговорил он. — Раз сказал, что по всей деревне пойдет, значит, пойдет. Властью своей упивается, зараза! И Клепикова с собой притащил... Умен, подлец!

— Так что, Прокоп, делать будем? — вытянулась перед ним Глафира Ивановна. — Может, еще вы, мужики, с ним поговорите? Вдруг образумится?

— Нет! — рубанул рукой Прокоп Захарович. — Перед Симаковым я кланяться не буду! Тут надо другой ход делать. На всякий яд, как оказывается, супротивие имеется. Милиционерто, кажется, Шурке Толстобровой маленько присвоя будет. Какой-никакой, а родней приходится ей. Раньше они частенько хлеб-соль водили...

— Так это когда было? — выразила сомнение учительша.

— Тогда он и в милиционерах не ходил.

— Какая, к ляду, разница! Хоть и чужается он ее теперь, но ведь все равно родня. Может, она поговорит с Клепиковым, угостит чем-нибудь... Вдруг сладится все — выпить-то участковый не дурак, сказывают.

Нас с Костиком послали к Толстобровым. Мы всю дорогу летели будто нахлестанные, стараясь обернуться до прихода к нам участкового и Симакова.

— Вас собаки гнали? — увидев нас, запыхавшихся и растянутых, с порога спросила Нинкина мать. — Садитесь за стол: огурцы малосольные пробовать!

Стрекоза подвинулась на скамейке, освобождая нам место за столом. Но мы, не отходя от порога, сбивчиво рассказали ей обо всем.

— Да что вы! — всплеснула руками Шурка. — Свихнулись они, что ли? Белены обlopались? А Серега-то чего выкобенивается? Ой, дурак! И чего в милицию-то его взяли, дурня этакого...

Она схватила в руки косынку и выскочила на улицу.

— Мама! Ты куда? — не понимая ничего, воскликнула Стре-коза.

Шурка не ответила. Она шла быстрым широким шагом, и мы едва успевали за ней.

Около конюшни уже стояли Глафира Ивановна и наша мать.

— Чего они там вытворяют? — резко спросила Шурка Толстоброва, поравнявшись с ними.

— К нам уже пришли хозяйничать, — прошевелила губами мать. — На повети толкуются. Говорят, что все сено увезут...

— Тебе ведь, Александра, Клепиков-то родней приходит-ся, — вступила в разговор учительша. — Сходи поговори — может, угомонятся. А то, видать, шлея им под хвост попала...

— Ай, родня! Да лучше бы не было, чем такая! Седьмая вода на киселе. Да и говорить с ним — хуже редьки горькой! Теленок теленком, а себе на уме — мнит из себя бог знает кого...

— А может, угостить чем?

— От этого Клепиков не откажется, — согласилась Шурка.

— Он — хулиить-то нехорошо — мимо рта не проносит. Да и Симаков тоже не промахнется... Два сапога пара!

Толстоброва на мгновение задумалась и встряхнула головой.

— Попробуем, бабы! Попытка не пытка! Может, и замаслим глазенки-то у них. Только у меня, как на грех, ни водки, ни самогонки нету — все пересохло.

— Это мы найдем! — оживленно заговорила учительша. — У Егора Васильевича много было запасено. Хотел праздник собирать, да из-за сенокоса не получилось... Пойдем, Серафима, сходим к нему, — обратилась она к нашей матери.

Мы боязливо подходили к дому. На мосту, широко расставив ноги, стоял участковый. Он, заметив нас, строго посмотрел сверху и обратился к отцу:

— Это твои гаврики?

— Мои, — послышался с повети приглушенный голос.

— Видал я их где-то...

— А ну-ка, ребята, — высунулся из-за дверей отец, — идите сюда! Помогать надо, а вы где шляетесь?

— Давай, давай, помощнички! — поторопил нас стоящий на входе повети Симаков. — Помогайте отцу! Вместе воровали... Интересно, кто из вас в будущем выйдет... С таким-то воспитанием!

Мы озлобленными зверьками взялись за вилы и стали подносить сено к большому дверному проему. Отец подхватывал его и деревянными троенцами скидывал вниз.

В левом углу подле нашей постели небольшой кучкой ле-

жало то самое сено, которое мы с Костиком накосили и принесли из ельника: мы положили его отдельно и сами хотели скормить Зорьке. Ни он, ни я не решались подойти к этому сену, и казалось, что руки не поднимутся, чтобы вонзить в него вилы.

— А это почему оставляете? — Симаков показал ногой в угол и, чиркнув спичкой, стал прикуривать.

— Тебе что, сена мало? Спалить нас захотел? — сверкнул на него злыми глазами отец. — Уходи, покудова вилами не шарахнul!

— Но-но, полегче! — отозвался с мосту участковый. — За такие речи можно и на пятнадцать суток посадить.

Но Симаков подчинился отцу. Он повернулся и с гордым видом переступил за порог повети.

Костик тут же кошкою подскочил к нашему сену и стал быстро и ловко скидывать его в ясли корове.

Я мигом оказался в другой стороне повети и принялся спускать пластины сена в овечье стойло. Наполнилось оно быстро. Тогда я опустил вилы вниз и распихал ими сено по всей кормушке. Отец, видя наши выкрутасы, незаметно от Симакова и участкового швырнул нам под ноги несколько пластов мелкого душистого сена, которое мы быстро скидали в кормушки.

Когда во всей повети стали виднеться гладкие, будто шлифованные, горбушки бревен, на мосту появилась Шурка Толстоброва.

— Здра-а-а-австуйте, помилуйте! — протянула она и с притворным непониманием уставилась на участкового. — А ты, Сергей, что тут делаешь? Неужто Федор Кузьмич в чем провинился? Мужик-то он у нас смиренный — век бы про него плохо не подумала...

Симаков избоченился и прощедил сквозь зубы:

— В тихом озере черти водятся! Заворовался, да и, похоже, не он один. И ты, наверняка, проштрафилась... Я же вчера вам обещал навести порядок — вот и навожу.

Но Толстоброва будто и не слышала его слов и стала лисицей подкательвать к милиционеру:

— А ты, Сергей Александрович, чего это меня чужаться стал? Небось, когда в милиции не работал, вы к нам частенько в гости заезжали. Ведь как-никак братаном приходишься. Ездиши вокруг да около, а не заглянешь, не опровергнешь, как сестренка живет...

— Да некогда все, — переминулся с ноги на ногу участковый. — Служба замучила. Такой работы, — кивнул он на опустевшую поветь, — каждый день по горло. Все почему-то воровать стали, будто с ума сошли. А у вас я, правда, давненько не бывал. Время будет — зайду.

— Ох и работенка у тебя! — с сочувствием проговорила

Шурка Толстоброва. — Поди, и позавтракать сегодня не сумел?

— Да уж какой там завтрак! С утра на ногах да на колесах.

— Так пойдемте ко мне, — не отступала она от участкового. — Огурцы у меня малосольные есть. В самую пору поспели — смородиной, хренком и дубовыми листьями заправлены. Язык проглотишь! И картошечка свежая наварена. Будто знала, что братанчик приедет, — целый чугунок поставила. И к огурчикам что-нибудь найду...

Шурка подошла к милиционеру вплотную, что-то шепнула ему на ухо. Тот на мгновение нахмурился и снова подобрел.

— Может, дойдем до сестренки? Перекусим? — спросил он Симакова.

— Не помешает, пожалуй, — согласился управляющий и обернулся к отцу. — Смотри мне! Припрятывать не советую! А то я канитель не буду с вами разводить — акт составим, и в суд за самовольничание.

— Ладно, пошли! Чего он, маленький, что ли? — подхватил его под руку Клепиков, и они спустились с крылечка.

Шурка Толстоброва шла впереди, по-девичьи кокетничая перед ними.

Они скрылись за углом, и в деревне стало тихо, безлюдно, будто вымерло все кругом. Только коровы и телята, бродившие в загоне, изредка подавали голос.

Отец, поставив в угол опустевшей повети вилы, молча сидел на ступеньках крыльца. Лицо его было хмурым, неподвижным, а сильные, жилистые руки свисали меж широко расставленных ног.

Мы с Костиком, перепрыгивая через грядки, выгнали из палисадника проныру-петуха. Он перелетел через забор, сел на высокую поленницу и громко закукарекал.

— С какой радости распелся? — фыркнул на него отец и швырнул палку. — Кыш, зараза! Без тебя тошно!

Петух, шумно захлопав крыльями, слетел с поленницы и, кокоча, вихлевато убежал в ограду.

— Мальчишки! — закричал нам издали Женька и замахал рукой. — Айда за мной!

Идти куда-то у нас не было никакого желания, и мы оставались на месте, пожимая плечами: «Чего там Женька придумал?»

— Мальчишки! — подбежал он к нам и, заметив сидящего на крылечке отца, сбавил в голосе, прошептал: — Пойдем смотреть, как милиционер самогонку трескает! Петъка уже туда убежал. Тикаем?

Женька развернулся и трусцой побежал обратно, мы — следом за ним.

К дому Толстобровых подходили с задов. В эти минуты мы чувствовали себя разведчиками, подкрадывающимися к вражескому штабу. Впереди, словно гусак, вытягивал шею Женька. Он то кошкой прыгал вперед, то замирал, делался недвижимым и прижимал палец к губам — мы тогда приседали и с головой уходили в картофельную ботву. Из раскрытоого окна на кухне Толстобровых высовывался Петька и махал нам рукой. Из-за его плеча выглядывала Нинка Стрекоза, но Прокопенок властно отпихивал ее локтем. К окну была приставлена короткая шаткая лестница.

— Залезайте! — оглядываясь назад, прошептал Петька. — Только тс-с-с! Не шумите!

Мы осторожно, чтобы не ухнуть с лестницы в крапиву, поднялись наверх и перевалили через подоконник. Горели и чесались изжаленные ноги, а у Женьки из ссадины на коленке выступила кровь.

Из большого круглого динамика, висящего у Толстобровых в зале, доносилась на кухню песня: «Броня крепка, и танки наши быстры...» Бодрящий и звучный голос перебивали Симаков и Клепиков. Они о чем-то шумно разговаривали.

— Где они? — шепнул Женька, не обращая внимания на поцарапанную ногу. Стрекоза на цыпочках подбежала к заборке и ткнула пальцем.

— Смотри в щелочку!

Женька притулился к рассохшейся перегородке, сжимая в руках игрушечный пистолет. Мы тоже, сгорая от любопытства, прилипли к заборке. Там, где щелки были особенно узкими, большими темными точками сидели клопы.

Петька взял со стола кухонный нож-хлеборез и медленно провел им по узкому пазу. Клопы закрошились на пол, поползли в разные стороны по заборке. Кончик ножа окровавился, от него стало противно пахнуть.

— Перестань — с души сорвет! — шикнул я на Прокопенка. Симаков и участковый сидели за столом. Посреди стола стояла бутыль с самогоном, а рядом с нею в широких тарелках лежали пупырчатые темно-зеленые огурцы и разварившаяся и потрескавшаяся картошка. Напротив мужиков сидела Шурка Толстоброва.

— Крепка-а-а, — проговорил нараспев сидевший к нам спиной управляющий и поставил опустевший стакан к тарелке. — Сама, что ли, гнала?

Нинкина мать передернула плечами и застреляла взглядом то на Симакова, то на милиционера-родственника:

— А не скажу! — выпалила она. — Какая вам разница! Вдруг еще братанчик арестует за это дело.

— Да ты что, Шурка! — хрустнул огурцом и усмехнулся

Клепиков. — Где ты слыхала, башка твоя бестолковая, чтобы я кого-то за это дело к ногтю прижал?

— А Федосье Селивановой кто за самогонку штраф выписал? Не ты, скажешь?

— Она — это совсем другое дело. На нее заявление накатали. Вот и пришлось у нее пошукать. А не было бы этой чертовой бумажки — гони она эту самогонку хоть еще сотню лет! А заявление есть — крутись не крутись, а меры принимать надо. Иначе мне самому по шапке надают...

— Он у нас на счет этого дела неплохой, — подмигнул Симаков и шлепнул по плачу участкового. — С ним жить можно — зря людей не обидит. Но, — управляющий постучал пальцем по столу, — если все по ему делать, поперек не идти.

— Может, еще по стаканчику?

— Не откажемся! — одобрительно хлопнул глазами милиционер и, обхватив бутыль обеими руками, подтянул ее к себе.

— Митька, смотри! — ткнул меня в бок Женька. — Милиционер-то как пьет, даже не глотает! Так у нас только дворник умеет. Его потом связанным в больницу увезли. Горячка какая-то с ним приключилась.

— Тс-с-с, — зашипел Петьяк и погрозил нам кулаком. — Тише! Услышат еще!

Они выпили и снова принялись закусывать. Лицо участкового сделалось красным, а с кончика носа свисала мутная капля пота. Он сидел, навалившись на стену, и едва угадывал огурцом в рот.

— А вы-то что, Павел Афанасьевич, нас обижаете? Чем мы перед вами провинились? — заглядывая в помутневшие глаза управляющего, начала Шурка. — Сено-то зачем отбираете? Чем люди коров-то кормить будут? Ведь такого безобразия до тебя не бывало.

— Ты, ты, ты, — заикаясь, заговорил управляющий, но договорить не сумел.

Он громко заихал и, не удержавшись на табуретке, упал навзничь. Шурка пулей выскочила из-за стола и принялась его поднимать, а Клепиков, подперев голову руками, склонился над столешницей и что-то бубнил себе под нос.

Нинка Стрекоза захихикала. К ней петухом подскочил Петьяк и дал затрещину. Она съежилась и притихла.

— Это безобразия не при мне, а... до меня были, — снова заговорил Симаков, усаживаясь рядом с милиционером. — Я хочу, чтобы все по закону было. Раз нельзя косить, значит, нельзя. Вот и отбираю, потому что сено ворованное. А посему на полных законных основаниях оно должно быть возвращено государству... в лице нашего совхоза. И еще скажу, что наказать вас всех надо за самовольную косьбу. Да, да, Александра,

наказать и п-п-по всей строгости с-с-советского закона.

— А что теперь, без коровы жить прикажешь?

— Выходит, так получается! А зачем тебе, скажем, корова? Я же без нее живу. Он, — Симаков глянул на участкового, — тоже. Зачем тебе лишняя возня. Мы же, милая моя, к коммунизму идем, Америку вот-вот повсеместно перегоним, а ты — корова, корова... Молока да мяса в магазинах будет некуда девать. Да и вообще эту частную собственность надо сворачивать. Читала в районной газете, как этих свиноматочных чихвостили! В хвост и гриву их разнесли! Им, может, и сейчас, как и мне, ичется...

— П-п-правду он говорит, — прорычал Клепиков и сунулся головой на стол. — Деревня должна к городу приближаться, а там без коров живут.

Шурка отставила от милиционера в сторону бутыль и тарелку с огурцами.

— А-а-а, — сощурился и завертел головой управляющий. — А можно и посмотреть, как с вами быть. Ты небось тоже наворовала? Заодно с ними живешь?

— Я рыжая, что ли?

— Ну ладно, — прошел сквозь зубы Симаков. — Налей-ка еще полстаканчика. А там подумаем, решим что-нибудь. Не расстреляют же меня за это...

— Да мы никому не скажем, словом не обмолвимся, — оживленно заговорила Шурка, наполняя стакан самогонкой. — Николай-то Евсеевич, который до тебя нами управлял, целую лошину для нас не жалел. И никто его за это не упрекнул, и мы его очень уважали...

— Но он бзаконник! — буркнул в ответ управляющий. — Вот он вас и распустил, научил самовольству.

Выпив самогонку, он с трудом поднялся со скамейки и, шатаясь, вышел из избы. На мосту загремели пустые ведра, под окнами закудахтали, захлопали крыльями куры. Шурка Толстоброва протопала следом за управляющим, но тут же вернулась в избу, сняла с вешалки фуфайку и скрылась за порогом. На кухню она вошла незаметно и, увидев нас, испуганно всплеснула руками.

— А вы что тут делаете?



Но ругать и выгонять нас Шурка не стала.

— Ладно, сидите! Да не шумите только, а то разбудите этих пропойц! Пусть проспятся, начальнички лешовы! Пойду я к бабам схожу.

Едва Нинкина мать промелькнула под окнами, Женька на цыпочках пробежал по избе и остановился подле милиционера. Тот спал, всхрапывая и содрогаясь всем телом.

Мы тоже воровато высовывались из-за заборки. Женька стоял около стола и, выпятив грудь колесом, крутил указательным пальцем у виска.

От такой смелой Женькиной выходки Стрекоза звонко захихикала, косо поглядывая на Прокопенка. Но Петька и сам заливался в смехе.

— Чего ржете? — неожиданно громко выпалил Женька и сжался в комочек, словно пружина: в любое мгновение он готов был дать стрекача.

Но милиционер не проснулся. Он что-то промычал и снова захрапел.

— Ребята! Давайте пистолет у него посмотрим, — вернувшись к нам, шепотом предложил Женька.

— Посмотрим, посмотрим! — поддержал его Костик.

— Не надо! Не надо! — испуганно затараторила Нинка Стрекоза. — А вдруг стрельнет?

Но от Нинкиных слов Женька стал еще смелее. Глаза его забегали из стороны в сторону, заблестели озорным искристым огоньком.

— Пойдем, Митька!

Было боязно, но от Женьки я не отстал. Мы мелкими беззвучными шажками подошли к участковому. Женька, чтобы лучше было удирать, рукой отодвинул меня в сторону и принялся расстегивать кобуру. Сзади нас, затаив дыхание, выглядывали Костик и Петька. Стрекоза пряталась за ними и от страха прикрывала себе рот.

Клапан кобуры долго не поддавался, но наконец-то открыл ся. Женька наклонился и от изумления открыл рот. Из кобуры торчал заплыvший серой мицтой плесенью огрызок огурца, а рядом с ним лежала вверх дном небольшая граненая рюмка.

Женька, не сходя с места, повернулся к дверям и махнул рукой. Все гуськом потянулись в зал и подошли к милиционеру.

— Смотрите! — возбужденно зашептал Петька, придерживая рукой кобуру. — Вон там чего!

— Хм-м-м, — расправившись, разочарованно хмыкнул Костик. — А я-то думал, там пистолет настоящий...

Последней стала заглядывать в кобуру Нинка, но не успела.

— А ну, кыш отседова! Ишь, чего удумали, черти окаян-

ные! — налетела на нас неожиданно вошедшая в избу Шурка Толстоброва. Она подскочила к нам и дернула Стрекозу за волосы. Нинка тонко, по-мышиному, пискнула, и мы, перепрыгнув через спящего на мосту Симакова, выбежали на улицу и без оглядки понеслись к дубу. Оттуда дом Толстобровых был виден как на ладони.

Шурка вышла следом за нами и принялась полоть грядки, исcosa поглядывая на крыльце. Вскоре около нее появился Прокоп Захарович.

— Ну что, Александра, скажешь? — полюбопытствовал он.

— При своих интересах остались они или поменяли мнение?

— А черт его знает! — пожала плечами Нинкина мать. — Полбутыли опростали, нажрались как свиньи и спят без задних ног. Ты бы хоть, Захарович, лошадь у них опровергал. Поди, голодная стоит. Она-то разве виновата...

— Я ей уже овса давал: одно ведро съела — второе поставил. Про сено чего говорят?

— Лешак их поймет! Симаков спяньу молол, что, может, переиначит все. Но и грозился тоже, что все отберет.

— Верить ему, пожалуй, нечего. Мужик он взбалмошной... Настасья, наверное, умнее всех окажется. Пока они тут забывали, Семеновна с Юлькой-почтальонкой все сено в старую хоромину перетаскали. Сейчас уже кончили, следы загребают.

— Хитра старушка, — кисло улыбнулась Шурка Толстоброва. — Она этак и Симакова вокруг пальца вместе с участковым обведет.

— Жизнь научила, — приметил Прокоп Захарович.

На крыльце появился Симаков. Одной рукой он опирался на стену, а другой лениво протирал заспанные глаза. Спустившись со ступенек, он неуверенной походкой подошел к забору и уставился в огород.

— Шурка! — прохрипел управляющий, увидев Толстоброву. — Иди-ка сюда!

Нинкина мать вытерла руки о полы передника и не спеша пошла по борозде.

— И ты, Прокоп, подходи! — скомандовал Симаков и, ломая спички, стал прикуривать папиросу.

Мы нахохленными воробьями перебежали вдоль забора к избе и спрятались за углом.

— Дай-ка мне воды, да похолодней! — начальственным голосом проговорил Симаков.

— Может, из колодца?

— Давай!

Прокрипев колодезным журавлем, Шурка зачерпнула из тяжелой, окованной железом бадью ковшик воды и подала его управляющему. Пил он жадно, большими шумными глотками.

— Налей-ка еще!

— Ой, нисколечко не жалко! В колодце воды хватит! — засыкающе ответила Толстоброва, пытаясь развеселить расхмуревшего Симакова.

Но тот даже бровью не повел, равнодушно принял из ее рук ковщик и поднес к губам.

— Ну так как, Павел Афанасьевич, — дождавшись, когда он оторвется от воды, робко начала Шурка, — насчет сена? Договорились? Ты же сам обещал — придумаешь что-нибудь...

— Спьяну да сдуру, знаешь, чего можно нагородить! Только уши развещивай! Все будет так, как должно быть. Ты думаешь, самогоном меня замаслила? Дудки! Я же вам обещал, что наведу порядок — отучу самовольничать. А то, видишь ли, распустили вас, воров... Дай вам волю — весь совхоз расхапаете, растищите по углам. Сейчас по всем поветям пройдемся — все под метелочку выгребу!

— Бога побойся, Павел Афанасьевич! — все еще не теряя надежды, взмолилась Шурка Толстоброва.

— Это тебе его надо бояться! Я вот еще возьму да и напишу на тебя, что ты самогонку варишь. Тогда небось другую песенку запоешь! Это тебе, Александра, надо бога бояться...

— Да пропади ты пропадом! — в сердцах выпалила Шурка и, оттолкнув его от калитки, птицей влетела на крыльцо и скрылась в дверях.

— А ну выходи отсюда! — раздался из избы ее разгневанный голос. — И ноги чтоб твоей здесь больше не бывало! Да побыстрей вышагивай! Родственничек проклятый!

На мосту снова загрохотали ведра. Дверь распахнулась, и на крылечке промелькнул участковый с вытаращенными глазами и со всего маху распластался у забора, подмяв под себя высокую огрубевшую крапиву. Кошка, сидевшая на завалинке, испуганно мяукнула, объершинилась и, словно ошпаренная, стрелой взлетела на угол дома. Закудахтали, метнулись в разные стороны куры.

— Картуз не потеряй, харя твоя бесстыжая! — кричала с крылечка Шурка и бросила ему в ноги милицейскую фуражку.

В руках она держала горбатое березовое коромысло.

— Ты, Толстоброва, смотри! — зыркнул на нее Симаков, помогая участковому встать на ноги. — Кошка скребет на свой хребет.

— Не пугай — пуганая! — огрызнулась Нинкина мать и, круто развернувшись, ушла на поветь. — На! Возьми! Подавись ты этим сеном!

Над нашими головами с шумом распахнулась дверь, потом взгромели вилы, и вниз полетели пласти сена.

— Забирайте! Все увозите, сволочи!

— А ты чего стоишь? — уставился Симаков на стоящего в нерешительности Прокопа Захаровича. — Забор подпираешь? Так он и без тебя не упадет! Ты здесь главный закоперщик? Больше всех, должно быть, нахапал. Иди, поделись с совхозом! Ворье, мать вашу...

Прокоп Захарович, не сходя в места, пристально посмотрел в глаза управляющего.

— Дурак ты, Афанасьевич! Ты чего надумал? Землю из-под наших ног выбить?

— Дураков в управляющие не ставят! — со злорадством ответил Симаков.

— Гнать тебя надо из таких управляющих в три шеи!

— Не ты ставил, не тебе и гнать, — строго выговорил Симаков. — Иди-ка, показывай, сколько наворовал.

— Подожди, и на тебя управа найдется! — смиленно проговорил Прокоп Захарович и неторопливо прошел мимо Клепикова и Симакова.

— Слыши, Павел, а может, оставить им это сено? Или тебе жалко? Совхоз-то не обеднеет, — вяло проговорил участковый, отряхивая с фуражки налипший куриный помет. — Без коров останутся, а без коровы, сам понимаешь, скудновато живется.

— Хе-хе-хе! — рассмеялся Симаков. — Да ты, товарищ участковый, плохо, видать, знаешь этих жуков. Они — как клопы: дави, трави, а они все равно выживут. Кому надо, найдут сена. Это они так в жилетку плачутся! А я этим самым нос старому ихнему управляющему утру. Он, знаешь, говорил, что я все дело завалю, против моей личности выступал, когда меня назначали. А я назлю ему — раз и в дамки! Сена у меня уже больше плана, да ворованное соберу... Столько будет, что ихнему Евсевичу и не снилось. Понял? Вот так-то!

— Понял, — кивнул Клепиков и поправил на поясе расстегнутую кобуру. — Но все равно нехорошо получается.

— Зато все по закону, — пожал плечами Симаков. — Тут комар носа не подточит. Да и в других отделениях тоже так сено-косят: десять процентов и никаких гвоздей! Ты вот что, Сергей, пока тут суд да дело, съезди за трактором. Найди Тольку Спирина, и пусть он с телегой сюда лупит. Скажи, что я приказал.

— Да оставь ты им сено, поехали лучше домой. А то они сколько с ним плюхались, и все попусту...

— Да ты что, Клепиков? Тебе же их по закону к ответственности привлекать надо, а ты в защитнички набиваешься! Знало бы твое начальство об этом — по головке бы не погладили.

Милиционер поправил фуражку, провел ладонью по опухшему лицу и пошагал вдоль деревни к привязанной у конюшни лошади.

Через час по деревне проторахтел трактор и остановился

подле конного двора. На взвозе сидел Симаков. Смуглолицый Анатолий Спирин высунулся наполовину из кабины трактора и крикнул управляющему:

— Куда ехать?

Симаков молча поднял вверх руку, давая понять трактористу, чтобы тот оставался на месте.

— Всех обошел, — сверкнул он глазами, взобравшись на гусеницу трактора. — Одна Настасья ни при чем, остальные — вор на воре сидят. Ведь еще и крысятся, сволочи!

— Да говори ты, куда ехать! — не дослушав Симакова, разразился громовым голосом Спирин.

— К конюху подруливай! Он тут больше всех воду баламутил!

Управляющий сам разобрал заворы, и трактор подпятился к повети Прокопа Захаровича. Хозяин стоял неподалеку от большой рыхлой горы сена. Его лицо было недвижимым, окаменевшим. Он не обращал никакого внимания ни на трактор, ни на размахивающего руками Симакова. Прокоп Захарович равнодушно смотрел на появившиеся на безоблачном с утра небе рваные темные клочья — где-то гроза бушевала.

— Вылезай! Грузить будешь! — подскочил управляющий к трактористу.

— Тебе надо, ты и грузи! — отозвался Спирин.

— Ах, одного поля ягода! — выдавил Симаков и ехидно улыбнулся. — Погоди, Спирин, будет и на вашей улице праздничник, я вам его устрою. Тоже все повети обшарю. Еще походишь за мной, в ножки покланяешься. Гордый чересчур.

Симаков сам взялся за вилы и стал кидать сено, а вернувшись назад Клепиков забрался наверх и медведем ходил по телеге, утаптывая падающие под ноги пласти.

— Слушай-ка, Афанасьевич! Ты хоть раз в жизни сено метал, хоть один стог поставил? — с мрачным видом спросил Симакова Прокоп Захарович.

— Бывало когда-то.

— А бывало ли? — скрипнул зубами Соболев. — А ну, отойди от сена к чертовой матери!

Прокоп Захарович с силой вырвал из рук управляющего вилы.

— Тебя к сену и близко пускать не надо! Пахорукий!

Соболев, подхватывая вилами небольшие аккуратные пластики, укладывал их один к одному на телегу. Клепиков едва успевал за Прокопом Захаровичем.

Когда на земле на осталось ни клочка сена, Соболев с силой воткнул вилы чернью в землю и подошел к Симакову.

— Ты бы, прежде чем у нас отбирать, сам бы попробовал сенушко позаготовлять! На десять процентов... Мозоли вона

какие, а ты... — Прокоп Захарович сунул ему под нос ладони с темными кровяными подтеками у основания пальцев. — А ты, Афанасьевич, отбираешь...

Петъкин отец не смог договорить до конца. Глаза у него заблестели, а по щеке покатилась слеза. Он, сгорбившись, медленно пошел в ограду.

— Сам-то почему грузил? Дурак, что ли? — набросилась на него жена.

— Сама дура! — не замедлил с ответом Прокоп Захарович.
— Вперед надо думать! Жить-то с ним приходится, да и сена жалко — по дороге бы все растряс...

— Ну и что теперь будешь делать? — чуть помедлив, спросила жена. — Снова косить?

— Буду, чего ж делать, — буркнул Прокоп Захарович.

— Ну и коси, покуда на весь совхоз не накосишь! А совхоз то большой. Да я бы на твоем месте всю скотину из-за этого сена перевела! На кой черт она нужна, коли все сикось-накось пошло.

— Ты еще скажи дом с молотка пустить?

— А что такого! Продать все да и в город уехать. Пропади здесь все пропадом вместе с этим лешовым Симаковым! Егорков братан как живет? Знаешь? Восемь часиков отработает, и чики-брики: лежит на диванчике, газетки почитывает да в потолок поплевывает. Ишь, брюхо какое отрастил! А у тебя, посмотрись-ка в зеркало, один нос да глаза остались. И ради чего работаешь? Так и помрешь на сенокосе в обнимку с косой!

— Остынь, Анютка! — топнул ногой Прокоп Захарович.

— Не мели лишнего! Я в этом доме родился и помирать здесь буду! И рыпаться нам с тобой отсюдова некуда.

— Ну и коси тогда! Хоть до Покрова плюхайся!

— И буду! — резко и отрывисто произнес Прокоп Захарович и скрылся в ограде.

Трактор с нагруженной телегой прогромыхал по мостовиннику и, пуская клубы плотного черного дыма, стал подниматься на другой берег Журавки. Он появлялся в деревне несколько раз. И когда трактор поехал с последним возом, Симаков, потирая руки, подошел к тарантасу и отвязал лошадь.

— Садись! — пригласил он участкового. — Домой покатили! Завтра я тебя снова с собой прихвачу...

Клепиков сел с ним рядом. Лошадь, настойчиваясь за день, галопом сорвалась с места.

Yтром следующего дня в деревне все думали думу: как быть с сенокосом? Решили сначала выкосить огрубевшую, засыхающую осоку в коровьем выгоне. Прокоп Захарович вызвался на лошади съездить в низа Журавки, где были совхоз-

ные пастбища. Коровы там не паслись уже насколько лет подряд — пастухам не хотелось столь далеко скотину гонять.

Осоку выкосили в тот же день. Возвращаясь из лощины, все присели отдохнуть под окнами Егора Васильевича. Из-за поворота вырулила на велосипеде Юлька-почтальонка.

— Трофим Феофанович, — поздоровавшись со всеми, Юлька подошла к учителю. — Просили передать, что вам завтра в районе велено побывать. На почту оттуда звонили.

— Спасибо, Юлия! — кивнул в ответ учитель.

— А не знаешь, зачем вызывают? — настороженно спросила почтальонку Глафира Ивановна. Юлька разверла руками.

— Как зачем? — рассудил дядя Валентин. — До школы уже немного осталось — готовиться надо.

— А, слушаем, не из-за сена? — вступила в разговор Шурка Толстоброва. — Этот дурак на все горазд. И туда мог сообщить.

— Да ну! — махнул рукой Прокоп Захарович. — Там же умные люди сидят, они бы из-за этого не стали канитель заводить. Я ихнего начальника знаю! Мужик толковый, не то что наш Симаков... Тихий, степенный.

Рано утром, нарядившись в серый костюм, Трофим Феофанович отправился в райцентр. Прокоп Захарович набивался подвезти его на лошади до большака, но учитель наотрез отказался:

— Барин я какой, что ли? И пешком уйду — привычный я. Зачем зря лошадь гонять?

Вернулся он вскоре после полудня. По деревне он шел не спеша. Мы в это время ворошили скошенную в выгоне осоку. Петька, увидев учителя, вскочил на огород и во все горло заорал:

— Трофим Феофанович, здравствуйте!

Учитель не остановился и даже не сделал шагу в нашу сторону, а только глянул на нас и едва заметно кивнул головой.

А вечером, когда около амбара поджидали коров, все окружили Глафиру Ивановну.

— Чего ему в районе сказали? — первою подступила к учительше Шурка Толстоброва. — Симаков насотонил?

— Ой, бабы! — завытирала глаза Глафира Ивановна. — Не знаю, чего и делать будем... Уезжать, видимо, нам отсюда придется...

— Это почему же? — не веря в услышанное, прохрипел Егор Васильевич. — Из-за сена, что ли? Так ведь это не беда — накосим или купим где-нибудь.

— Школу закрывают, — не сдерживая слез, ответила Глафира Ивановна. — Не будет ее больше.

— Как закрывают? — округлила глаза Шурка Толстобров-

ва. — Они там что, офонярели?

— Говорят, учеников мало и нет никакого резона учителя содержать.

— Ой, батюшки! — запричитала Шурка Толстоброва. — Что делается? Что делается? Это и Нинку, значит, в интернат? И ее неделями видеть не буду? За что это, бабы, муки-то такие? Одна по интернатам шлялась, школу бросила — по рукам пошла... С урока в роддом увезли! Теперь эта?

— Да не реви ты раньше времени! — одернул ее Прокоп Захарович. — Ишь, белугой распелась! Может, по ошибке сказали. А старшую свою ты сама распустила — вынежила. Она у тебя и дома все ночи шлялась, валандалась с заезжими электриками. Сама просмотрела — на школу ничего сваливать!

— Да нет тут никакой ошибки, — печально возразила учительша. — Трофиму уже и место в райцентре дают. К первому сентября велено переехать и к работе приступать... Что делать?

Вечером допоздна копнили и развозили по домам просушеннюю осоку.

Возили все, кроме Трофима Феофановича. Он весь день не показывался на улице. Когда закончили с осокой, нам с Петькой велено было отвести лошадь в выгон. Возвращались мы берегом реки, пугая застоявшихся в омутах членоков-щурятишек.

— Смотри, Митька, учитель! — неожиданно произнес Петька и вытянул руку, показывая туда, где Журавка подходит к самому лесу.

— Где?

— Вона, на берегу сидит!

— Чего это он? — удивился я, увидев учителя. Трофим Феофанович неподвижно сидел на высоком берегу реки около широкой бочажине.

— Сеть, наверное, поставил — сторожит, когда щука попадется, — предположил Петька. — Давай покараулим.

Мы легли под ивовым кустом и, устроившись поудобнее, стали наблюдать за учителем. Сидел он долго, потом встал, огляделся кругом и побрел в сторону ржаного поля.

Прокопенок глянул на меня и пожал плечами: ничего, мол, не понимаю. Мы, не говоря друг другу ни слова, змеями поползли к той бочажине, где только что был Трофим Феофанович. Но ни сети, ни нароты в омуте не оказалось. В пестовнике плесканулся и ушел в глубину шуренок, и все стихло. Раздосадованные и удивленные, мы встали на ноги и, уже не прячась, во весь рост пошли к дому, оглядываясь назад. Учителя мы увидели, когда поднялись к избе Шурки Толстобровой. Он медленно брел вдоль спевающего ржаного поля...

Вто утро мы с Женькой сидели на взвозе конюшни и с хворостинами в руках поджидали коров. Коровы уже все бродили по улице, не было только Пеструхи Трофима Феофановича.

— Может, спят еще! — передернул плечами Женька. — Пойдем узнаем.

Мы побежали к дому учителя, поднимая хворостинами позди себя клубы пыли. Трофим Феофанович встретил нас у калитки.

— За Пеструшкой, ребята?

— Да! — в один голос ответили мы.

— Не выпустим ее сегодня, — горестно вздохнул учитель.

— Она сегодня не туда пойдет... Другой путь Пеструшеньке предстоит... Дальний...

В глазах учителя блеснули тусклые огоньки, и он, опустив голову, повернулся и ушел в избу. Из раскрытой двери вырвалася на улицу тихий плач Глафиры Ивановны.

— М-м-м, — промычал Женька, — непонятно... Чего это они?

Словно что-то потерявшие, мы понуро поплелись обратно, стали собирать разбредшихся по всей деревне коров. Идти коровам в выгон никак не хотелось: предосенняя трава была там пожухлой, безвкусной и наполовину вытоптанной. И нам пришлось побегать за ними до седьмого пота, пока не помогли Петья и Нинка Стрекоза.

Закрывая ворота выгона, мы услышали перестук тележных колес и обернулись. По деревне ехала запряженная в высокий выездной тарантас лошадь. В кошельке сидела Глафира Ивановна в черном пиджаке. Лица ее почти не было видно: большой серый платок свисал до самых глаз. Сзади плелась корова. На ее рога была накинута веревка, другой конец которой тянулся к заднику тарантаса. Корова шла спокойно, не сопротивляясь, и лишь когда увидела пасущихся в выгоне коров, замотала головой, словно пытаясь освободиться от привязи, и, вытянув ее вверху, протяжно замычала.

За Пеструшкой шел Трофим Феофанович.

— Куда они ее? — непонимающе спросил Женька.

— Сдавать, — ответил я тихо и нехотя.

— Куда-куда? — переспросил Женька.

— Ты чего? — обернулся к нему Прокопенок. — Раскудахтался, как курица! Не понимаешь, что ли? В Заготск повели, на мясо...

— На мя-а-а-со? — протянул Женька и от удивления и растерянности раскрыл рот. — Или ее убивать будут... За что?

Мы с Петькой промолчали. Но и Женька притих. Он уже ничего не спрашивал, не обращал никакого внимания ни на меня, ни на Петью, ни на покачивающуюся на изгороди Стрекозу, а стоял, будто полоумный, и во все глаза смотрел на медленно плывущую подводу.

Пеструшка уходила из деревни смиленно, изредка помахивая хвостом. Словно прощаясь с нею и чувствуя что-то недобroe, коровы забились в самый ближний угол выгона и, вытянув морды, водили носами, фыркали и мычали наперебой...

Через день после этого в деревню приехали два больших грузовика и остановились под окнами Трофима Феофановича.

— За учителем приехали! За учителем приехали! — затрезвонила, прибежав на покос в низа Журавки, Нинка Стрекоза.

Мужики и бабы, услышав издали ее звонкий голос, оцепенели и замерли на месте. Прокоп Захарович шумно выдохнул и повесил косу на ивовый куст.

— Пойдем, мужики! Помочь надо Феофановичу... Да и простишься заодно. Настасья Семеновна, стоявшая с ним рядом, отвернулась в сторону и украдкой смахнула набежавшую слезу:

— Такие люди уезжают! Такие люди! — запричитала она.

— Борьку моего выучил, на ноги поставил. Одна-то я или бы его выучила... Как теперь жить-то без них будем? Ой!

— Ладно, нечего слезы лить. — Егор Васильевич швырнул косу на валок. — Проводить надо. Столько лет вместе прожили...

В деревню пошли споро. Впереди широко вышагивали мужики, а позади всех, спотыкаясь о кочки и падая, семенила Настасья Семеновна. На ходу она казалась еще горбатее и неуклюжее. Всю дорогу что-то бормотала себе под нос и всхлипывала, словно ребенок, шмыгая острым осунувшимся носом.

Грузили быстро. Приезжие шоферы носились с ящиками и кузовами как заведенные, словно боялись куда-то опоздать. Трофим Феофанович молча стоял посреди избы. У него под ногами мяукала и вилась, выгибая горбину, черная пушистая кошка.

— Осторожней, осторожней! Тут — книги! — встрепенулся учитель, когда один из шоферов небрежно ухватился за тяжелый угловатый узел, связанный из большой серой шали Глафиры Ивановны. Шофер на мгновение оцепенел и опустил узел на пол. — Подожди-ка! — остановил его Трофим Феофанович и подошел к водителю грузовика.

Учитель наклонился над узлом. Он долго копошился внутри его и вынул оттуда несколько толстых книг, осмотрел их и подозвал нас. Мы робко подошли к нему.

— Это на память вам, — проговорил он. — Читайте — хорошие книги! И храните!

Трофим Феофанович, подавая нам книги, крепко пожимал руки, будто взрослым.

Шофер с ухмылкой посмотрел на нас и забросил узел с книжками на плечо. Глафира Ивановна сутилась на улице. Она

выносила из клети крынки, чугуны и тут же раздавала их бабам.

— Берите, берите! Нам все равно уже не нужно будет. Скотинки там не подержишь. Такого-то, как здесь, простора не будет... Мария! — позвала она к себе жену Егора Васильевича и подала ей большую глиняную корчагу с расписными цветными узорами. — Приеду как-нибудь — пивом угостишь! А вы, бабы, не обессудьте, что ей такую корчажку отдаю: пиво у Марии Степановны больно хорошее получается...

Когда все было погружено, Трофим Феофанович вынес на улицу скамейку с привинченным на нее сепаратором.

— Берите — без денег отдаю. Остальное к нему в ящике лежит.

Сепараторов в деревне больше ни у кого не было. Но никто не решался взять его, и мужики отрешенно смотрели на учителя. Первым набрался духу Прокоп Захарович. Он широкими шагами подошел к Трофиму Феофановичу, взял из его рук скамейку и поставил ее перед Настасьей Семеновной.

— Пусть твоим будет! Не семья у тебя, да и сеном ты ловко провела Симакова. Бери, Семеновна, мы в обиде не будем. Забирай со скамейкой вместе.

— Трофим Феофанович! — обратился Женькин отец. — Давайте, пока солнышко не зашло, сфотографируем все вместе!

— Давай, Валентин! — охотно согласился учитель. — Но уговор: чтоб фотографии и мне были!

Все стали около палисадника. Ближе к забору мужики с бабами, мы — впереди. Сбоку притулилась Настасья Семеновна. Она, приняв из рук Прокопа Захаровича скамейку с сепаратором, так и стояла с ней. Глафира Ивановна, пока Женькин отец щелкал фотоаппаратом, беспрестанно шмыгала носом, а когда он закончил снимать — заголосила на всю деревню. Ее тотчас же обступили бабы и принялись уговаривать.

Потом все присели на бревна, которые Трофим Феофанович приготовил прошлой зимой для ремонта бани. Мужики и бабы притихли, примолкли и мы. Только кошка со вздыбленным хвостом крутилась под ногами и громко мяукала.

Первым встал с бревен Трофим Феофанович. Он, не поднимая глаз, обходил всех и тискал в крепких объятиях.

— Будете в райцентре — заходите! Самыми дорогими гостями у нас... — голос учителя сорвался. Он, закрыв лицо ладонью, направился к машине... Грузовики тронулись с места и медленно поехали по деревне.

Выехав за окопицу, передняя машина остановилась. На подножке ее появился Трофим Феофанович. Он вытянулся во весь рост, замахал рукой... Учитель что-то крикнул, но мы не

рассыпали — рядом с нами во всю головушку голосила Настасья Семеновна, всхлипывали и гомонили другие. Дверка машины закрылась, донесяся оттуда протяжный, щемящий душу сигнал, и грузовики, оставляя за собой жидкий хвост пыли, быстро понеслись по дороге. В низах Журавки заканчивали кочить. Мужики присели на перекур.

Женщины, утомленные тяжелой косьбой, прилегли на свежескошенную траву. Мы лениво ходили с рогатинами и раскидывали вальки. С нами уже не было Женьки — день назад он уехал домой. Не стало и Иринки, и только слепленный из колючек репейника медведь около калитки Егора Васильевича напоминал о ней. Петьяка весь день был мрачным и хмурым. Вчерашним вечером он закрыл свою корову в ограду, и мы все вместе убежали к овину и пробыли там до темноты. А корова, открыв рогами завертушку, попала в огород и перемесила все грядки, капусту и морковку поела. И, когда Петьяка заявился домой, Прокоп Захарович выпорол его как сидорову козу сыромятным чересседельником. Петьяка вопил на всю деревню, вырываясь из рук отца. Прокоп Захарович бил его молча, стиснув зубы, а потом вдруг ни с того ни с сего швырнул чересседельник в сторону и виновато склонил голову перед Петькой.

— Ты прости меня, сынок... Не хотел я так, ей-богу, не хотел. Так получилось. Шут с ней, с капустой-то... Прости...

Петьяка, всхлипывая и размазывая по щекам слезы, присел на ступеньки крыльца. Рядом с ним примостился и отец. Он был угрюмым и молчаливым.

За лесом глухо и раскатисто прогремело. Потом еще раз, другой. По вершинам деревьев порывисто пробежался ветер.

— Вставай, мужики! — скомандовал Егор Васильевич. — Докосим, и с плеч долой! Слыши, гроза надвигается!

Все снова взялись за косы. Косили молча, не разговаривая, размашисто, с тревогой погладывая на небо, раздираемое глухими раскатами. Туча надвигалась медленно, и гроза настигла нас у деревни. Небо враз потемнело, стих, словно обрезало, ветер. Даже осинки около конюшни перестали шелестеть листами. С верховья Журавки доносился устрашающий монотонный звук, похожий на шипение зажженного примуса.

Едва мы вошли в избу, совсем рядом сухо и оглушительно треснуло — и всю деревню осветило ярким синевато-белым светом. Вихрем пронесся над крышей ветер, и хлынул ливень. Дорогу под оконками стало не видно. По ней сплошным потоком бурлила, словно кипела, вода. Скрипела и потрескивала под порывами ветра крыша... Гроза не утихала до самого вечера. Наконец-то гром унялся, тяжелая темная туча перевалила за

другую сторону деревни, но дождь не переставал.

Отец, набросив на себя шуршащий брезентовый плащ, пошел встречать Зорьку. Неожиданно под окном появился Петъка в закатанных по колено штанах.

— Пошли! — крикнул он. — Река из берегов вышла! Ух, как вода шуряет!

Мы, стараясь обогнать мутные пенистые потоки, сломя голову понеслись к реке. Журавка разлилась, будто в весеннюю водополицу, и затопила всю прибрежную осоку.

— Смотри! Еще прибывает! — удивленно воскликнул Петъка, первым вбежав на мостовинник.

Перед мостом урчали, кружили водовороты, ввинчивая в себя сухие сучья и щепки, клочья травы. По укатанному, наезженному мосту стали пробиваться ручейки. Они становились все шире и шире, а потом вода бурным потоком хлынула по осклизлым бревнам, защекотала наши босые ноги.

— Уйдите оттуда! Уйдите! — погрозил нам с угора Прокоп Захарович. — Утонуть захотели?

Мы, шлепая пятками по раскисшей дороге, поднялись к амбару. Там толпой стояли мужики.

— Я так понимаю, что сену нашему тю-тио пришло, — мотнул головой в сторону разбушевавшейся Журавки Петъкин отец. — Если здесь она так разлилась, то там и подавно все затопило...

Мужики в ответ не проронили ни слова: стояли и пыхтели папиросами.

— Ой, батюшки! — не доходя до амбара, всплеснула руками Шурка Толстоброва. — За что нас бог наказывает? Надо же какая буря разыгралась! Все сено уволокет.

— Прогневили, видать, в чем-то, — с досадою проговорил Егор Васильевич. — Небу не прикажешь — лить ему или обождать.

— А вы, мужики, газету читали? — спохватившись, выпалила Шурка Толстоброва. — Больно уж дивно написано! Вот полюбуйтесь! — Она вытащила из-за пазухи газету и развернула ее перед мужиками. С первой страницы во все лицо улыбался Симаков.

— Накося! — изумился Егор Васильевич. — Давно ли его с тремя кукурузинами пропечатывали, а тут — снова!

— А вы, мужички, почитайте, полюбопытствуйте! — тараторила Шурка, тыкая пальцем ниже фотографии.

— Ну-ка, дай гляну! — расправил плечи Прокоп Захарович. — Ишь, как ловко написано: правофланговые пятилетки. Во, какое заглавие, лешак бы его побрал!

— Ниже читай! — не отступала Шурка.

— Тихо, мужики! Слушайте!

Прокоп Захарович, прячась от моросящего дождя под крышу амбара, начал читать.

— «Благодаря организаторским способностям молодого управляющего Павла Афанасьевича Симакова, его умению руководить и работать с людьми, отделение выполнило план по заготовке сена на сто пятьдесят процентов. Он, проявляя незаурядную заботу и хозяйственную жилку, уже в летние месяцы позаботился об успешном начале предстоящей зимовки скота. Например, сено, заготовленное рабочими отделения на самых дальних сенокосах и труднодоступных местах, доставлено к животноводческим фермам...» — Тьфу! — сплюнул в сердца Прокоп Захарович. — Ересь какая! А написано-то — язык сломишь! Сено он, видишь ли, к фермам подвез... Так бы и сказали, что людей обобрал, на нашей шее в рай захотел въехать... «За успехи в районном социалистическом соревновании, — продолжал читать Прокоп Захарович, — его имя решено занести на районную Доску почета и вручить ему премию в размере десять рублей. В жизни Павла Афанасьевича недавно произошло очень важное и запоминающееся событие. На днях руководитель передового отделения совхоза «Заря коммунизма», успешно пройдя кандидатский стаж, принят в ряды партии. Принимая членский билет из рук первого секретаря райкома КПСС, молодой коммунист заверил руководство района, что он в ближайшее время сделает все, чтобы добиться резкого повышения производства молока и мяса. Итоги нынешнего сенокоса показывают, что слово у него твердое, и потому есть уверенность, что и это обещание он выполнит с честью...»

— Вот наплели! — зло сверкнул глазами конюх, — Бога из дурня вылепили! Сено к фермам доставлено? Да оно как увезено, так и валяется неприбранным. Жилка у него хозяйственная есть? Сено-то наше, поди, стгнило уже давно — сколь дождей после этого выпадало... Сволович он, а не правофланговый! За мясо он теперь да за молоко возьмется? Интересно, как это будет происходить?

— А он уже берется, — сообщил наш отец. — На днях на телятник заходил. Матерился на чем свет стоит!

— Чего-чего, а это он умеет! — согласно кивнула Шурка.

— На, Толстоброва, свою газету, — фыркнул на нее Прокоп Захарович. — Я ее с этим портретом и в уборную не возьму, чтобы не замазаться!

— Больно она мне нужна! — вскипятилась Шурка и, скомкав газету, швырнула ее под моросящий дождь.

— Оправдание надо туда накатать, — предложил Егор Васильевич. — Пусть приедут и поглядят на стгнившее сено, которым он коров кормить собирается...

— Ага, — покачал головой наш отец. — Напиши-ка! Тесть

мне рассказывал: кузнец у них письмо аж в Москву накатал и сам не рад этому. На него же все шишки и посыпались, его же во всем и обвинили. Вот тебе и пиши опровержение! Этот же Симаков заключает, да еще другие набросятся.

— И то правда, — заключил Прокоп Захарович. — Да лешак с ним, с Симаковым-то! Мы-то что будем делать? Всю траву, наверное, унесло...

За ночь Журавка ослабла, утихомирилась и вошла в берега. С утра выглянуло солнце. Проводив корову до выгона, я сунул в карман свежую пахучую горбушку хлеба и побежал к Петька.

— Пойдем в низа! Сено смотреть!

Идти по лугу было вязко и скользко, и мы пробирались лесом, петляя, словно зайцы, меж высоких листистых елок. Под ногами хлюпало и булькало, а сверху, когда мы неосторожно задевали деревья, градом сыпали крупные холодные капли. Вначале мы осторегались, боясь промокнуть насквозь, но вскоре наша одежонка все равно стала такой, что хоть выжимай.

Петька шел впереди. С его промокшей, с выпяченными лопatkами спины, струился легкий и едва приметный парок.

— Здесь, кажется! — обернулся он, сбавив ход. — Право руля!

Пройдя сотню шагов, мы вышли на берег Журавки и остановились в изумлении. Петька тихонько свистнул.

— Вот это да! И загребать нечего...

Мы спустились к реке. Под ногами была склизкая глянцевитая грязь. Она, словно паста из тюбика, продавливала меж пальцев. Кусты ивняка, тянувшиеся по берегам Журавки, были посеревшими от песка, ила, затянуты травой, пожухшим пестовником и всяkim хламом. Около смородинника застrelяла широкая доска. Ее мы с Петькой узнали сразу: она была перекинута через речку неподалеку от дуба.

— Ну что, Митька, наш с тобой сенокос кончился, — то ли радуясь, то ли огорчаясь, сообщил Петька. — Через три дня в школу...

Петька оказался прав: на сенокосе в тот год мы с ним больше не бывали. Начавшийся в то утро дождь то затихал, то занимался вновь...

Первая неделя в школе была короткой. Один день были уроки, а на следующий классная руководительница объявила:

— Завтра всем классом на картошку поедем.

— Ура! — вскочил из-за парты мой сосед Васька Корешков. — Картошки печенои наедимся! А далеко ли нас повезут?

Когда учительница ответила ему, он запрыгал на месте:

— Ура, Митька! К тебе в гости поедем!

Везли нас на тракторе, всю дорогу телега вихлялась из стороны в сторону. Бизжали девчонки, звякали пустые ведра. Учительница свою озидалась по сторонам, не давая мальчишкам проказничать.

На картофельном участке уже работала копалка. За рулем трактора сидел незнакомый усатый мужик. Он без останову проходил ряд за рядом.

— Вот это картошка! — удивился долговязый второгодник Ванька Ковригин. — У нас дома такой нету. Митька, — обратился он ко мне, — пойдем костер разводить!

— Ковригин! — строго поглядела на него учительница. — Никаких костров! Поработай сначала.

Но Ванька и ухом не повел на ее замечания. Он набрал ведро крупной розовой картошки и скрылся за утином. Оттуда тотчас же потянулся дымок. Учительница, заметив беглеца, направилась к нему, но с поля закричали девчонки:

— Галина Петровна! Галина Петровна! А мешки где? Куда картошку вываливать?

Классная руководительница вернулась и остановила тракториста.

— А мое какое дело, — ответил ей тракторист. — Мне велено копать, я и копаю. О мешках пусть управляющий заботится...

Галина Петровна, пометавшись из стороны в сторону, приказала нам носить в ведрах картошку на край поля и сваливать в кучу. Мы, изгибаясь под тяжестью, потянулись к дороге.

— Митька! — остановил меня второгодник. — Ты дурак, что ли, с картошкой-то из конца в конец бегать? Хитрить надо... Ноги в старости пригодятся!

Он пооизирался по сторонам и, не увидев поблизости учительницу, опрокинул ведро в борозду и заровнял землей.

— Ты чего? — возмутился я и хотел было позвать классную руководительницу, но Ковригин подошел ко мне вплотную и сжал кулаки.

— Ты чего делаешь? — не оробев, спросил я.

— Училику хочешь позвать, пятерошник? Да? — подступил он еще ближе и ударил мне в лицо.

Я не устоял на ногах и упал наземь. Ведро с картошкой опрокинулось и, познавая, откатилось в сторону.

— Галина Петровна! Галина Петровна! — закричал Ванька. — Посмотрите, Митька картошку в борозды сваливает! Носить ему неохота!

На зов Ковригина прибежала учительница, девчонки кругом обступили. Учительница, не выслушав, стала отчитывать. От боли и обиды у меня брызнули слезы, и я, ползая на коленках, стал собирать рассыпанную картошку.

— Стыдно, Митя, должно быть, — с укором глядела на меня Галина Петровна. — Говорят, твой отец эту картошку сажал и полол даже, а ты так поступаешь...

Она повернулась и ушла, следом за ней засеменили девчонки. Из глаз моих слезы брызнули градом...

— Да я сам, сам ее полол!

— Тогда тем более, — услышал я голос учительницы.

Я дособирал ведро и направился к закрайке поля.

Мешки привезли около полудня, и сразу все бросились к картофельной куче. Набирали быстро, а приехавший тракторист подхватывал мешки и грузил их на телегу. Гора картошки медленно таяла.

— Все! Мешков больше нету! — развел руками Васька Корешков.

— А я вам откуда их возьму — из коленка, что ли, выломлю! — пожал плечами тракторист и запрыгнул в кабину. — Сколько было, столь и привез!

Мы снова рассыпались по полю, и куча вновь стала расти на глазах.

Но дособирать всю выкопанную картошку так и не успели: трактор за нами пришел. Все мигом бросились к телеге занимать места, а я, закинув ведро за плечо, прямушками направился к дому. Под моими ногами вперемешку с ботвой, сорняками и непереврежшим навозом густо лежали розовые и белые картофелины. Клубни были большие, гладкие, я подобрал несколько штук, чтобы показать их отцу.

Мать встретила меня у порога.

— Тише! — шепнула она. — Отец пьяный!

Я посмотрел в зал и увидел его. Он спал за столом, уронив голову на столешницу. Перед ним лежало насколько картошин, точь-в-точь таких, какие были в моем ведре...

Утром я встал рано и хотел помочь матери прогнать корову в выгон, но она остановила:

— Не надо сегодня гнать — заморозок крепкий. Вся трава в инее. Даже лужи застыли...

Я вышел из избы и сразу съежился от холода. Ведро воды, стоящее на мосту, было покрыто тонкой корочкой хрупкого прозрачного льда...

— Ешь быстрей и отправляйся к отцу, — сказала мать, наливая в кружку теплого парного молока. — Он в Саврасовой лощине. Велел и тебе туда с граблями идти.

— А картошку копать?

— Да не приедет сегодня никто. Тракторист копалку вчера нарушил — по мосту не угадал. Так копалку спирожило, что, отец говорит, и не отремонтировать будет... Поэтому бери грабли иди лист в осиннике загребать. Все равно на уроки не поспеешь.

— Какой лист? — переспросил я.

— Осиновый. Отец уже третий день заготовляет. Коровушку надо будет чем-то кормить.

Листу в осиннике было много. И я, прежде чем начать работу, стал выбирать самые красивые и неповрежденные, чтобы отдать их Костику для гербария. Но вскоре это надоело, и я взялся за грабли.

Траву грести гораздо лучше и быстрее, чем листья. Они проскальзывали меж зубьев, а то и вовсе переваливались через колодку граблей. По одному и тому же месту приходилось скрябать раз и другой.

Я нагреб несколько длинных и высоких валков. Они горящими огненными хребтами извивались меж толстенных оголовившихся осин. Под вечер подъехал на лошади отец. И мы вместе с ним стали набивать шуршавшими осиновыми листьями большие, просторные мешки, похожие на матрацы-соломенники.

Телегу нагрузили доверху. Отец, взобравшись на тугие мешки, обернулся ко мне.

— Ты продолжай! Может, еще сколь нагребешь. Я обратно приеду. Да и на завтра надо бы погрести, пока не задожковело.

Я не противился, а наоборот, даже обрадовался, представив завтрашний день: позову с собой Петьюку и Костику, можно и Стрекозу, нагребем целую гору листу и будем сами возить.

Но листом заниматься пришлося только под вечер. Утром пришел Симаков и собрал всю деревню.

— Кукурузу убирать надо!

— А чем ее убирают? — захлопал глазами Егор Васильевич. — Комбайны должны быть?

— Должны, должны, — передразнил его управляющий, — да не у нас. Сам не знаю: как быть с этой растенией? Косилкой не возьмешь, зерновым комбайном она тоже не по зубам.

— А начальство чего? Сеять заставляли, а сейчас...

— Убирать, говорят, надо, а как — никто не подсказывает. Мамоновичу на этот счет хорошо — на всех кукурузных полях шаром покатай, не выросло ничего.

— Да и у нас-то, — шмыгнул носом Прокоп Захарович, — не густо наросло. Только у Проныки на осырке, а вокруг него — хоть яичко катай, не потеряешь.

— Все равно убирать надо, а то меня потом за нее к потолку подтянут. Давайте, мужики, собирайтесь. Берите топоры с собой — и на Проныкин выселок. Шантрапу, — кивнул он на нас, — тоже туда, пусть рубят. Бабы таскать будут и в кучи складывать.

Дома отец дал мне маленький топорик, которым он выстругивал зубья для граблей и делал косьевища. Но его я отдал

Костику, а сам вооружился длинным, похожим на саблю, коса-рем.

От самой деревни и до Пронькина выселка мы летели не чуя ног и, добежав до пожелтевшей кукурузы, сразу же принялись рубать ее. Косарем работать было очень удобно. Я размахивал им направо и налево. Рядом со мной похрустывали толстые, сочные стебли под топорами Петьки и Костика.

— Ниже, ниже рубите! — не раз останавливал нас Прокоп Захарович. — Под самый корень ее! Зачем добру пропадать.

Управились с кукурузой часа за два.

— А если бы, мужики, она везде такая выросла, — оглядывая небольшой вырубленный участок, усмехнулся отец, — пришлось бы лесорубов из района вызывать.

— Топоров бы не хватило, — колко заметил Егор Васильевич. — Тысячу гектаров под нее заняли, как кобелю под хвост...

Вернувшись с выселка, мы до позднего вечера собирали и возили осиновый лист.

— Молодцы! — нахвалила нас за ужином мать. — Буду теперь вперемешку с сеном давать — подольше протянемся.

— Все равно мало, — мрачно сказал отец.

— Может, прикосим еще где, пока белые мухи не падают. Или... Или купим у кого-нибудь. Неужто везде так с сеном.

— Пустое дело, — не согласился с нею отец. — Я уже многих спрашивал. Кто, ежели и запасся, не продает. Говорят, на будущий год еще труднее с сенокосами будет...

В школу мы ходили вчетвером: я с Костиком, Петька и Стрекоза. Нинка всю дорогу от нас отставала и хныкала. Мы по очереди носили ее портфель, но от этого ничего не изменилось. В больших резиновых сапогах, она едва переставляла ноги по раскисшей осенней дороге. Мы часто останавливались, дожидаясь ее, а иногда даже разводили костер, чтобы обогреть ее озябшие руки.

В один из холодных и слякотных дней мы по дороге в школу промокли насеквоздь, а Стрекоза ко всему этому еще и поскользнулась, начерпала полные сапоги леденящей воды. Весь день ее знобило, а к вечеру Нинку, обессилевшую и задыхающуюся, на молоковозном тракторе увезли в больницу.

Шурка Толстоброва несколько дней пролежала вместе с нею в палате, а потом, когда Стрекозе стало чуть легче, приехала домой.

— Воспаление легких признали, — горестно проговорила она, вытирая платком покрасневшие и воспалившиеся от бессонницы глаза. — Месяц, говорят, а то и больше пролежит...

Наступили осенние каникулы. Журавку уже сковало морозом, и мы с Петькой пошли пробовать лед в заводи около

моста, но нас завернул Симаков:

— Сберите-ка всех! С праздником проздравлять буду!

Петька бросился в один конец деревни, я — в другой. Всех облетели мигом.

— Дорогие товарищи! — заученно начал Симаков, когда все были в сборе. — Сердечно и горячо поздравляю вас с праздником Великого Октября. Поработали мы нынче неплохо. Победителями признаны — в газете об этом писали.

— Грамотные — читать умеем, — нехотя ответил из толпы Егор Васильевич.

— И у вас в деревне есть передовик нашего общественного производства — Серафима Фроловна...

Мы с Костиком переглянулись, радуясь тому, о чем сказал управляющий.

— Она, — продолжил он, — в октябре первое место по совхозу заняла, привесы у нее самые высокие во всем районе. Поздравим ее, товарищи! Грамоту ей обещали выписать...

— Не надо мненичего! — смущенно проговорила мать.

— А ты, Фроловна, не смущайся, когда хвалят. К этому привыкать надо! — подбодрил ее Симаков.

Но она еще ниже опустила голову. Никто в деревне не знал, что перед самым взвешиванием телят управляющий велел досыта накормить их круто заваренной посыпкой, а потом выпустить на водопой.

Мать едва им успевала подливать воды, поэтому на весы телята шли надутые, словно барабаны. А два худущих и никак не растущих бычка, которых с грустинкой называла заморышами, во время взвешивания были похожи на бочонки.

— От имени парткома, профсоюза и дирекции, — заканчивал выступать управляющий, — еще раз поздравляю вас с



праздником. Желаю ударной работы, счастья и здоровья вам и вашим детям.

Шурка, услышав эти слова, всхлипнула и отвернулась в сторону.

— Тебе чего, Толстоброва, и праздник не праздник? Радоваться бы надо успехам, а она, дура, рев устраивает. С какой это стати?

— Радоваться? — стрельнула Шурка колючим заревленным взглядом. — А чему? Тому, что дочка в больнице? Тому, что без сена осталась? Этому?

— Дочка у нее донельзя простила, — пояснил Егор Васильевич. — В область, наверное, отправлять будут...

— Вылечат, — спокойно ответил Симаков. — Многие нынче болеют.

— Школу нечего было закрывать! — сквозь слезы выговарила Шурка. — Денег стало жалко! Да я бы свои отдала, только бы ребенку ходить было близко, а не к черту на кулички! Ты мне отвешь: почему мой ребенок должен за восемь верст на уроки ходить? Не по вашей ли милости в больницу Нинка попала?

— Ты, Толстоброва, — Симаков поднял перед собой руку с растопыренными пальцами, — волком на меня не смотри и вопросов таких не подкидывай. Со школой я ни при чем. Не нашего это ума дело, а там, кто это решал, не дурнее нас с тобой люди сидят.

— Не от большого ума это сделано, — вставил Прокоп Захарович. — Так все можно порешить.

— Не порешить, а перенести в другое место, — поправил конюха Симаков. — Потому как по генеральному плану развития в совхозе останется всего три населенных пункта, а остальные неперспективные.

— И наша?

— Она пуп земли, что ли? И вашу переселят.

— Вот уж дудки, Павел Афанасьевич, и тебе, и твоему генеральному плану! — сердито выговорил Прокоп Захарович.

— Не петушишь, Прокоп! — дернул его Симаков. — Дело твое — верить или не верить, но так оно будет.

— Чихать мне на этот план, — разошелся Петъкин отец. — ты меня отсюдова никаким арканом не вытащишь. Здесь батька мой и дед жили, царствие небесное, жизнь начинали, поля своим хребтом разрабатывали, хоромы ставили... А я теперь, видишь ли, манатки должен сматывать. Не выйдет по-вашему, товарищ Симаков! Я вот еще, дай бог силы да здоровья, Петъку выращу, женю его и дом ему срублю вон на том угоре, чтобы со всех сторон видно было. Понял? И нечего чепуху молоть!

— Успокойся, Захарович, — подобрел, переменился в лице Симаков. — Сами затеяли, завелись. Я же к вам с по-

здравлением шел.

Он поправил мешковато висящую на плечах незастегнутую фуфайку.

— А ты, Шура, не расстраивайся. Вылечат твою девочку. На то они и врачи.

— Павел Афанасьевич, можно спросить? — с осторожностью обратился к Симакову Егор Васильевич.

— Спрашивай!

— Сенцо-то наше, которое отобрали у нас, говорят, так и стгнило около фермы. И картошка замороженная тоже, сказывают сопрела, так что и свиньям на корм не пошла.

— Говорят, в Москве кур доят! — обернулся к нему Симаков. — Сено уже давно не ваше, да и не было вашим, поэтому забудьте о нем. И картошка — тоже не ваша забота.

— А ну его, мужики! — махнул рукой Прокоп Захарович и поплелся домой.

Каникулы пролетели незаметно. Дни стояли ядреные, морозные. И мы с утра до вечера пропадали на реке, выслеживая под прочным прозрачным льдом притаившихся налимов. Увидев рыбину, мы подкрадывались к ней и со всей силой ударяли по льду обухом топора.

— Тр-р-рах! — гулко разносилось по округе.

— Есть! Есть! — обрадованно кричал Костик и начиндал лихорадочно орудовать топором. Потом он опускал покрасневшую на морозе руку под лед и выбрасывал наверх скользкого темнотелого налима.

Весь декабрь мы ждали новых каникул, чтобы, собирая по деревням золу, вдоволь накататься на лошади. Петька на кануне составил план, куда и кому ехать в первую очередь, чтобы нашу золу не перехватили другие живущие в окруже ученики.

Но Петькиному плану не удалось осуществиться. За неделю до Нового года в деревне побывали Симаков и главный зоотехник и увезли в Заготскот всех лошадей, оставив в стойле только жеребую кобылу Майку и двух тонконогих жеребят.

Мы с Петькой не поверили этому — думали, Прокоп Захарович пошутил над нами, — и побежали на конюшню. В крайних стойлах было непривычно пусто. Там, где стояла Рыжуха, дверка была настежь, и на ней, тускло поблескивая металлическими заклепками, висела узда. Петька взял ее в руки, звякнули тихонько удила. В дальнем углу полупустой конюшни заржала Майка, затопали, завытаявая шеи, жеребята.

— На санках придется, — сказал Петька и со всего маху пнул валявшееся в проходе ведро. Оно закувыркалось, забрякало и в самом конце двора встало на попа.

— И этих хотели увести, — кивнул он на беспокоившихся в стойле поджарых жеребят. — Папка отстоял, а то бы и этих заграбастали, на колбасу перекрутили...

Утром мы копошились у нас в ограде: устанавливали на санки старую продырявленную ванну. За дверями во дворе несколько раз промычала Зорька. Я заглянул в стойло и опрометью бросился на поветь. Кинул ей охапку, другую и посмотрел в кормушку. Корова перестала мычать и с жадностью захрумкала сено. Тогда я схватил стоящие подле дверей вилы и скинул еще. А вечером мне за это дали чесу.

— Ты куда столько надавал? — набросилась на меня мать.

— Так она же голодная стояла.

— Голодная, — соглашаясь со мной, смягчилась она. — Но и так валять нельзя. Зима-то долгая — чем потом кормить будем?

Но как мать ни экономила, сена и листу не хватило. Когда поветь стала совсем голой, она несколько раз принесла украдкой сена с телятника. Но отец, прознав про это, трахнул кулаком по столу и, не поднимая глаз, процедил сквозь зубы:

— У меня в родне воров не было и не будет! Не позорь ни меня, ни Мит'ку с Костиком! Мой отец нищим был, — на его душе и копейки ворованной не было. А ты что делаешь? Бога побойся, Симка!

Мать, не раздеваясь, в фуфайке ухнулась на диван и заревела.

— Не реви! Проживем как-нибудь! Не найдем сена, сдадим ее к чертовой матери. Но воровать — не наше это дело. Шуркато вон сдала, хотя тоже не без реву...

Отец хотел сказать еще что-то, но осекся, затих. На скулах его заходили желваки. Он скрипнул зубами и встал из-за стола.

— Ладно, Сима, успокойся! — подошел он к матери. — Чего сделаешь, коли жизнь такая пошла. Может, потом лучше будет. Пойду я Прокопа проведаю...

Он молча оделся и скрипнул дверями. Домой он вернулся пьяным, упал посреди пола и захрапел, а утром пешком отправился по деревням искать сено.

— Нету! — выпалил он, зайдя в избу, и со злостью швырнул себе под ноги заиндевевшую на морозе шапку. — Кого только ни расспрашивал, не найти, говорят, нигде... Многие уже и коров посдавали.

Отец скинул с плеч полушибок и прошагал на кухню.

— Сима, налей-ка немного, — умоляюще посмотрел он на мать. — Устал — хуже работы всякой.

Мать поставила перед ним бутылку самогона, оставшуюся еще с новоселья. Отец налил полстакана и выпил залпом.

— Что теперь будем делать? — переведя дух, тихо спросил он.

— Не знаю, — едва слышно отозвалась мать.

— А я уже все за дорогу передумал, перекумекал. Как бы ни жалко Зорьку было, а сдавать ее придется. Нет у нас больше выходу. Нет! Завтра же ехать надо, покуда она не отошла совсем. Да и овечке хоть что-то останется. Ее-то бы до весны проторчануть, и то ладно.

Мать присела с ним рядом и молча уткнулась ему в плечо.

— Сдавать, сдавать надо, — твердо повторил отец, снова прикладываясь к бутылке. — Иначе и овечушку нарушать придется.

Я стоял около шестка, навалившись на печку, не видя ничего вокруг: ни взлохмаченного захмелевшего отца, ни склонившуюся над столом всхлипывающую мать, ни кошку, ласково мурлыкающую на подпечке. Предо мной снова и снова проплывал тот самый майский день: залитый ярким солнечным светом зеленый цветущий луг и пестробокая Зорька, летящая по нему во весь мах...

— А ты, Митяй, тоже собирайся! — откуда-то издалека донесся до меня приглушенный голос отца. — Один день школа и без тебя проживет. Нам поможешь, да и купить тебе что-нибудь надо — костюм или ботинки новые за счет Зорьки спрать... Костику штанов надо набрать, еще...

Он недоговорил. Голова его бессильно опустилась на стол.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Не спала и мать. Она ворочалась с боку на бок, всхлипывала и несколько раз вставала с постели и надолго выходила на улицу, поскрипывая ступеньками, ведущими в ограду и во двор.

— Митька, просыпайся! — еще затемно разбудила меня мать. — Отец уже приехал! Собираться надо.

Я нехотя слез с полатей и посмотрел в окно. Рассвет едва занимался. У калитки стояла запряженная в розвальни высокая серая лошадь. Около нее сутился отец.

Умывшись сукропой, нагревшейся за ночь в умывальнике водой, я быстро натянул на себя приготовленные с вечера штаны, теплый отцовский свитер и прошел на кухню. На столе стояла высокая глиняная кринка Глафиры Ивановны с теплым парным молоком...

Ехали мы долго и тихо. Я почти всю дорогу не спускал глаз с бредущей на поводу Зорьки. Она шла, низко опустив голову, и мне казалось, что из ее больших темных глаз катились слезы.

— Зорька, Зорька, — приговаривал я, и она на мгновение приподнимала голову и набавляла шаг, выбивая из-под ног звенящие на морозе осколки спрессованного снега.

Часа через два мы приехали в Заготскот. Там уже вовсю мычали коровы. Около ворот и высокого дощатого забора перетаптывались размаревшие за дорогу лошади.

На крутом крыльце Заготската стоял косматый усач. Его ноги в белых валяных сапогах были широко расставлены, а руки упирались в полы расстегнутого полушибука. Вокруг него галдели и матерились мужики, разноголосо шумели бабы в фуфайках и поблескивающих, словно прилизанных, жакетах.

— Чего базар разводите? ! — крикнул усатый тонким бабьим голоском. — Через час принимать будем. И куда вас столько приверлось? У всех все равно не примем!

Он, не сходя с крылечка, закурил и стрельнул в сторону обгорелой спичкой.

— Кому сказал — не галдите, не мешайте работать!

Усатый несколько раз затянулся папиросой и скрылся за дверью.

— Федор, а вдруг у нас не возьмут? — беспокоясь, спросила мать, — Вон сколько нашего брата понаехали. Неужто обратно Зорьку погоним? Муки-то ей какие!

— Тише ты! — шикнул на нее отец. — Сейчас к Алехе схожу, другом ведь был когда-то... Может, провернет. А ну, Ми-тай, — шлепнул он меня по плечу, — пошли греться!

Едва мы подошли к крыльцу Заготската, на нас со всех сторон набросились мужики.

— Куда прете?

— Ишь, какой умник нашелся! Последний приехал, а хочешь без очереди пристроиться?

— Гони его, мужики! Я уже второй раз привожу — и все попусту!

Один из них ловко подскочил к отцу и, рванув его за рукав, со злобою выпалил:

— Пшел вон! Последняя твоя очередь!

Отец не срబел. Он спокойно отвел руку мужика и проговорил, показывая на меня:

— Видишь, ребенок околел.

Я сразу же смекнул, в чем дело, и притворно застучал зубами, запостукивал валенками.

Мужик, нахмурив брови, оглядел меня с ног до головы.

— Нечего с собой сопляков таскать, — процедил он сквозь зубы и, широко размахивая руками, отошел в сторону.

Мы поднялись по лестнице и очутились в небольшой комнатушке — прокуренной и закоптелой. За сколоченным из досок столом сидели двое.

— Здравствуйте! — пробасил с порога отец.

Усач, сидевший к нам спиной, обернулся и обнажил в улыбке широкие желтые зубы.

— О-о-о! Привет, Федор! — бодро ответил он. — Давненько я тебя не видал! Неужто корову сдавать приехал?

— Не поехал бы, да нужда заставила. Кормить нечем.

— Косить надо было, а не баклушки бить! — глухим голосом отзывался широкоплечий, полноватый мужчина, сидевший напротив усача.

— Была бы волюшка, не на одну корову бы запас. Не дали! Даже то, что накосили, под метелку вымели, увезли... Все почтум-то наперекосяк пошло.

— Зна-а-аем! Не объясняй! — с усмешкой протянул усатый.

— Каждинный день об этом не по одному разу выслушиваем. Зато у нас уже за эту зиму три годовых плана оформлено. А если бы у всех подряд принимать, то и всю пятилетку можно за два счета выполнить. С коровами этими одолели — прут и прут, как тараканы травленые. Вот так-то, Федор! Присаживайся к столу. Погрейся, перекуси с дорожки! Твой пацан? — кивнул он на меня.

— Мой, — ответил отец и усадил меня напротив потрескавшейся, жарко натопленной печки, а сам присел на краешек скамейки рядом с усатым.

Дородный мужчина наклонился и поставил на стол распечатанную, но почти полную бутылку водки.

— Пить будешь?

— Да что вы, мужики! — пожал плачами отец. — Мне бы только корову сдать.

— Одно другому не мешает, — усмехнулся толстяк и стал разливать водку по стаканам.

— А ты какой в очереди? — спросил он, не отрывая глаз от бутылки.

— Последний, наверное! — выпалил с досадой отец. — Только сейчас приехали.

— Люди тут с трех часов утра ошиваются, очередь занимают, а он, — толстяк ухмыльнулся и спрятал под стол пустую посудину, — только приехал...

— Не беда, Федор! — обнадеживающе подмигнул усатый.

— Держи стакашок, и все будет в ажуре! Сделаем так: десять коров принимаем, потом тебя выкрикиваем, и баста! Никто не зашумит, потому как куда им деваться — не сегодня так завтра снова к нам же пойдут. Им ссориться с нами нет никакого интереса. Только за это, сам понимаешь, горюче-смазочное потребуется. Вот такое! — показал он глазами на стакан водки.

— Какой, Алекса, разговор! — взбодрился отец. — Будет!

— Договорились! Сам будешь на улице, а мальца можешь и здесь оставить. Чего ему зря сопли морозить!

Отец выпил вместе с мужиками и, обтерев губы самошитой губкой рукавицей, ушел.

Здоровяк подождал немного и вновь наклонился в угол, доставая вторую бутылку.

— Ты, Алекса, будешь еще? — спросил он усатого, взвалывая водку.

— Нет, Митрофаныч, обожду немнога — эта еще не прижилась...

— Дело твое, а я трошки пропущу.

Митрофаныч набулькал полстакана, рывком плесканул водку в рот и захлопал ладонью по губам:

— Хороша! Как Христос прокатился! — выдохнул он и строго проговорил усатому: — Начинай приемку! Выше тощей никому не давай! Потом разберемся. Усек? А кто заерепенится — пусть катяется ко всем чертям...

— Впервой, что ли! Понял все! — ответил усатый и скрылся за дверями.

На улице сразу же все пришло в движение. Мужики, матерясь, изо всех сил тянули к весам упирающихся коров. Из-за угла появились двое с большими, похожими на школьные портфели, сумками, перекинутыми через плечо.

Они остановились около крыльца, глядя на суетящихся. Потом один из них — горбоносый, с короткими усиками — скинулся сумку на снег и принялся помогать. «Седьмая... Восьмая...» — считал я проходящих через весы коров, и от этого счета меня почему-то бросало в озноб, хотя рядом стояла дышащая жаром печка. Одиннадцатой должна идти наша Зорька. От этой мысли к горлу подступал комок, и я боялся, чтобы не расплакаться, не выказать слез сидящему за столом толстяку.

Когда весы прошла девятая корова, бегающий вокруг них Алекса замахал руками, и с улицы донесся его приглушенный голос:

— Последнюю берем! Твою! — показал он на мужика в шапке с кожаным верхом. — Загоняй! И на сегодня — шабаш! Завтра приходите!

Остальные, приехавшие сдавать коров, закричали на приемщика, грозили ему кулаками и трясли какими-то бумажками и цветными корочками. Но Алекса стоял с неподкупным, равнодушным видом. Он эти минуты походил на командира какой-то очень важной и неприступной крепости...

А тот мужик, на которого только что ткнул пальцем Алекса, словно обезумел. Он швырнул шапку себе под ноги, заметался из стороны в сторону, а потом, опомнившись, ухватился за веревку обеими руками и, скользя по утрамбованному снегу, повел корову к узкому проходу весовой клетки.

Костлявая высокая корова поначалу была послушной, но перед самыми весами зауросила, заупиралась, широко раскинув передние ноги. Сзади к ней подскочила худощавая остро-

носая женщина в новехонькой блестящей жакетке. Она несколько раз легонько шлепнула корову по облезлому линяющему заду и уткнулась в него лицом.

— Ты что, едрена вошь, такую доходягу затащить не можешь! — заорал благим матом у весов мужик с сумкой.

Он бойко подскочил к хозяину коровы, рванул у него из рук веревку. Лицо его побагровело, а на шее взбугрились, налились кровью жилы. Корова не поддавалась. Она стояла недвижимо, еще ниже наклоня голову с большими, похожими на ухват, рогами. Ее темные глаза были будто остекленевшими и тоскливо смотрели на унавоженную и избитую копытами нальдь.

Сбоку к упирающейся, словно вросшей в землю, корове подбежал на помощь мужику другой, пришедший с ним вместе. Он, поддерживая одной рукой хлопающую на боку сумку, принял с пинать заскорузлыми кирзовыми сапогами по отвисшему жилистому брюху, по выпирающим на боках ребрам. Женщина в жакетке закрыла лицо руками и, сгорбившись, без оглядки убежала за угол дома.

Корова вздрагивала от каждого удара, но не трогалась с места. А когда острый носок сапога впился в порозовевшее на морозе вымя, она на мгновение присела на задние ноги, судорожно затряслась всем телом, а потом, поднявшись, осторожно, словно боясь оступиться, прошла на весы...

Я отвернулся и закрыл глаза. Хотелось сорваться с теплой насиженной скамейки и бежать, бежать, бежать... Бежать без останову, без огляда, бежать с этого проклятого места, бежать неизвестно куда... Мои пальцы судорожно теребили подернутые шерстяные рукавицы.

— Щдорово, Митрофаныч! — послышалось из раскрывшейся двери.

Гремя кирзовыми сапогами, вошел тот, что пинал упряженную, непослушную корову. Он небрежно бросил у порога сумку и подошел к толстяку.

— Шена привет тебе шакашывала. Школько дней ты еще шдешь ночуешь?

Рот у него был почти совсем беззубый, и потому говорил мужик шепеляво, со свистом. Не дождавшись ответа, он показал на меня рукой и спросил:

— А это чай шморчок?

— У Алехи друг какой-то приехал коровенку сдавать. И его с собой прихватил, — нехотя ответил Митрофаныч и усмехнулся: — Жена, говоришь, привет заказывала? Это хорошо — не забыла, значит...

Здоровяк расхохотался и стал считать на пальцах:

— Сегодня уже четвертые сутки здесь квартирую. Чего

поделаешь, если водки каждый день море разливанное...

Вошел и горбоносый, придерживая рукою висящую на плече увесистую сумку, из угла которой выставлялась рукоятка ножа. Лицо его было опухшим, раскрасневшимся.

— Крепко вчера саданули! — сверкнул он заплывшими глазами. — Я и ножи все дорогой потерял. Ладно, сосед натакался, а то бы без инструмента остался... Митрофаныч, нет ли у тебя чего-нибудь в загашнике?

— А то как же! — похлопал себя по пухлому животу Митрофаныч. — Зачем я тогда и сижу здесь? Все идет своим чередом!

Снова тонко звякнули стаканы, забулькала водка.

Выпив, мужики натянули на себя черные, в коричневых пятнах и подтеках, фартуки, прихватили с собой сумки и направились к выходу.

— Работать пошли! — обернулся с порога горбоносый. — А ты, Митрофаныч, в печку накинь — закуска сейчас мигом поспеет!

— Топай! Нечего балаболить! Печка всегда готова, — пробунчал им вслед Митрофаныч, раскрывая папку с бумагами.

— Все! Наше дело кончено! — вихрем влетел с улицы приемщик.

— И одиннадцатую принял?

— Все в ажуре!

— Сколько он обещал?

— Думаю, не обидит...

— Давай, зови по одному!

Алеха послушно бросился к двери.

— Заходи!

В тесную комнатушку вошли женщина в жакетке и тот обезумевший мужик.

— Так, так, хозяева, — не отрывая глаз от разложенных на столе бумаг, растянуто заговорил Митрофаныч. — Корова у вас, хоть и велика, но выше тощей не проходит...

— Да, — подтвердил Алеха. — Немножечко до средней не дотягивает.

Мужик зашаркал ногами по полу, а женщина незаметно для сидящих за столом приемщиков тронула его за полы фуфайки. Он, словно ужаленный, обернулся на жену и, сообразив, видимо, на что намекает жена, робко и несвязно заговорил:

— Ежели немножечко не доходит... Может, сторгуемся, мужики? У меня бутылочка есть... Сладимся? А?

— Во дает! — рассмеялся Митрофаныч. — Поставь тебе среднюю... А ты знаешь, какой куш отхватишь! Бутылочка же, милок, два восемьдесят семь стоит, а потому перекос получается.

Рука в жакетке еще раз тронула фуфайку.

— Так я же не одну предлагаю, а две сразу! — оживился мужик.

— Да ладно, — выразил притворное сочувствие Алекса. — Поставь ему среднюю.

Митрофаныч недовольно крякнул и, нахмурив брови, посмотрел на приемщика.

— Так и быть — ставлю. Но... под твою личную ответственность. Если что, тебе хвост крутить будут. А у меня в тюрьму из-за таких, как они, попадать никакого желания нету.

— Да уж пожалей мужика, а мы как-нибудь выкрутимся, — с усмешкой ответил Алекса, пряча водку в ящик стола.

— Смотри мне! Влипнем, на меня не сваливай! И вы, —толстяк стрельнул взглядом на обрадованного мужика, на его жену, — молчите в тряпочку!

— Что вы! Что вы! — раскланялись они. — Спасибо, мужики, спасибо!

Женщина в жакетке, взяв из рук Алекси подписанные бумаги, выпорхнула на улицу. Следом за ней — муж.

— Вам спасибо! — расхохотался и заерзал на скамейке приемщик, когда они прошмыгнули под окном. — Корова-то куда с добром — на высшую тянула!

— Дурак! — круто оборвал его Митрофаныч. — С них можно было и три штуки сдернуть...

— Хватит и этого, — не согласился Алекса. — У людей и так горе — без коровы остались, а ты готов каждого ободрать как липку.

— Алексей! — высунулся из-за косяка отец. — Вы тут долго ли будете? Мне бы до села додернуть...

— Валяй! Успеешь! — кисло ответил Митрофаныч.

Отец мотнул мне головой, и я пулей выскочил вслед за ним, чуть не сбив с ног высокого худощавого мужика в расстегнутом полуушубке.

— Без очереди, сука, залез! — прошипел он на отца.

Но отец, не оборачиваясь, пошагал к лошади. Я осмотрелся по сторонам, надеясь высмотреть Зорьку. Ее нигде не было, лишь из длинного дощаного сарая слышался шепелявый голос.

Мать сидела в санях, уткнувшись лицом в передок. И когда мы поехали, она вскинула заревленные глаза и прошептала:

— Прошай, Зорюшка!

До самого села отец не переставал нахлестывать лошадь. Сани то раскатывались от обочины до обочины, то взлетали на рытвины и выбоины, в оглобли и полозья гулко ударяли окаменелые застывшие комки снега.

Минут через десять мы уже были в магазине. Мать одну за другой рассматривала и примеряла к моей спине рубахи. Отца

с нами не было. Он куда-то исчез, не сказав нам ни слова, а потом неожиданно появился с увесистой хозяйственной сумкой в руках.

Мать купила несколько рубах — мне и Костику — и долго не отходила от прилавка, щупала, словно проверяла на прочность, большой цветастый платок с длинными кручеными кистями.

— Некогда, Сима! — сказал, посмотрев на часы, отец. — Ждут нас. Нравится — бери, а не любо — глядеть нечего. Ехать надо!

Мать растерянно зыркнула на отца, на продавщицу и пожала плечами.

Тогда отец сгреб с прилавка платок, накинул его на плечи матери и отошел в сторону.

— Покупаем! Ей-богу, Сима, тебе даже очень к лицу... Берем, нечего скопидомиться.

Мы поехали обратно. Во дворе Заготската, там, где с утра толпились и галдели мужики, не было ни подвод, ни людей. И только свора разномастных собак визжала и урчала, катаясь клубком около крыльца.

Громадный рыжий кобель, похожий скорее не на собаку, а на теленка-сосунка, держал оскalenными зубами большой окровавленный кусок, отдающий паром. Остальные собаки, рыча и кидаясь друг на друга, пытались вырвать его у рыжего пса-великана. Он, не раскрывая пасти, озлобленно и сердито уркал на них и пятился назад.

Отец поднял валяющийся под ногами огрызок березового веника-голика и замахнулся на собак. Они, подобрав под себя хвосты, с визгом бросились врассыпную, а кобель, освободившись от наседающих на него собак, спешно скрылся за калиткой, не выпуская добычу из зубов. За ним на плотном сероватом снегу протянулся светло-кровавый след.

— Плод выкинули, — тяжело вздохнул отец. — Видимо, не мы одни стельную сдали...

В комнатушке было шумно, жарко и накурено — хоть топор вешай. За столом сидели трое: улыбающийся во все лицо Алекса и те двое в фартуках. Митрофаныч, сложив руки топориком под растрепанную косматую голову, спал у самых дверей на широкой деревянной лавке. Он всхрапывал, в уголках рта пузырилась, стреляя мелкими брызгами, белая пена.

— Ты што, едрена вошь, — осоловело посмотрел на отца беззубый. — Ш ума походили, што ли? Што ни корова, то штельная... Шалко, наверно?

— Да отстань ты от него! — вмешался Алекс. — Не береди мужику душу, ему и так тошно. Садись-ка, Федор, к столу!

— пригласил он отца. — Печенка свежая. Митрофаныч жарил, да угорел малость...

Приемщик налил полный стакан водки и подвинул его на край стола.

— Хозяйке налить?

Отец отказался, сославшись на дальнюю дорогу.

— Чего ломаешься! — упрекнул его горбоносый, поддевая немытыми окровавленными руками зажаристые куски печенки. — Раз подают, не отказывайся! Я что, мужики, скажу? Давно я на бойне работаю, а такого, чтобы скот скопом сдавали, — не видывал. Коров как метлой выметают. А через год, через два — чего будет, кто сюда и кого поведет. Ты, думаю, Алекса, без работы останешься...

— Ты обо мне не беспокойся! — засмеялся приемщик. — Была бы шея, хомут найдется! Держи, Федор, — не отставал он от отца. — Выпивка наша, а закусь — твоя. Печенка-то, наверное, от вашей коровы...

Отец нахмурился, на его скулах заходили желваки. Он, крепко обхватив стакан пальцами, опрокинул его разом. Закусывать не стал.

— Не буду... Не хочу...

— Федор, — нашептывала ему мать, — домой пора привиться.

— Как, Алексей, коровку оформим? — спросил он приемщика.

— Как ты, так и мы.

Отец нагнулся к стоящей у порога сумке и протянул ей две бутылки водки.

— В таком случае средней пройдет, — заверил Алекса. — Трошками до высшей не дотягивает.

— Так ведь это не все, — невольно улыбнулся отец и вынул из-за пазухи третью.

— Теперь полный порядок! — расплылся в улыбке приемщик. — А она, по правде скажу, на тощую шла. Голодом морили, наверное. Сена не было?

— Листом осиновым кор... кормили, — всхлипнула мать.

— Не расстраивайся, хозяйка! — заметил рассудительно горбоносый. — Не вы первые, не вы последние. Сколько их, коровушек, в расход пустили? Не сосчитать! Видишь, на стене написано: выполним и перевыполним план по мясозаготовкам. Вот и выполняем, стараемся...

Мужики выпили еще, и мы стали собираться домой. Уже у порога отца остановил запьяневший приемщик.

— Федор, возьми это, — протянул он отцу бутылку. — Тебе пригодится, да и зачем ты столько привез. Что я, не понимаю? У тебя, можно сказать, горе, а мы...

Обратно мне всю дорогу пришлось править лошадью. Отец, едва мы отъехали от Заготскота, выронил из рук вожжи, сунулся в передок и заснул.

Мы с матерью, приехав в деревню, выпрягли лошадь, и, пока отводили ее в пустовавшее на конюшне стойло, отец оклемался, не угадывая по тропинке, убрел домой.

Но в избе его не оказалось. Мать испуганно заметалась из угла в угол, заглянула в клеть, на сеновал — везде было пусто. Мы, не чуя ног, проторпали по лестнице, спустились во двор, включили там засиженную мухами и огороженную самодельной проволочной решеткой лампочку и остановились: отец был во дворе.

Он стоял на четвереньках посреди Зорькиной загородки и колотил своим увесистым кулаком по тем самым половицам, которые год назад — перед тем как привести корову — устипал во дворе, ревностно подбирав и подгоняя одну к другой.

— Федор! Ты чего? — робко спросила мать.

Отец медленно повернул голову в нашу сторону, посмотрел на нас сверкающими, словно огненными, глазами, что есть силы взмахнул рукой и снова трахнул по полу. Кулак угодил в свежую коровью лепешку, и от нее полетели, зашлепали по стена姆 и перегородкам липкие брызги.

Захлопали крыльями сидящие на насесте курицы, а петух перелетел в пустую коровью кормушку и крутил головой, поглядывая на дыру в потолке. За высокой перегородкой заметалась и заблеяла одинокая овца.

Мать не выдержала и присела на порог, обхватив голову руками. Невесть откуда появилась наша пушистая кошка. Она вилялась под ногами матери и напевно мурлыкала, виляя хвостом.

— Молочка, Мурочка, захотела... Нету его больше, не будет, — тихо проговорила мать и взяла кошку на руки.

— Где? Где Зорька наша? — вторил ей голос отца.

Он еще несколько раз стукнул кулаком по полу, потом встал и пошатываясь направился в избу. Там уже сидел, поджидая нас, Прокоп Захарович.

— Сдали коровушку?

Отец не промолвил ни слова и пригорюнился у стола.

Прокоп Захарович, видя, что со своим вопросом высунулся не к месту, медленно стянул с головы шапку и присел поближе к отцу.

— Я же предлагал тебе... Никто бы и не провещился, не узнал.

— Нет! — резко обернулся отец. — Не по мне это дело!

— Совестливый, хочешь сказать? — исподлобья глянул на него Соболев. — Честный? Ну-ну! А я не побоюсь! Что мне, из-за него все хозяйство рушить? Лошадь сегодня есть, на ней и

поеду. С такими порядками волей-неволей воровать будешь...

— Греха ведь потом не оберешься... — не поднимая головы, проговорил отец. — Съест он тебя вместе с потрохами.

— А ну всех к лешему! — оскалился Прокоп Захарович. — Волков бояться — в лес не ходить! Они так, а я по-другому. Нет ли у тебя, Сима, — повернулся он к матери, — чего-нибудь для смелости. А то робею — ни разу такого у меня не бывало...

Мать достала из сумки водку, посмотрела на отца.

— Тебе, Федор, наливать?

— Не надо, — отозвался отец и, когда Прокоп Захарович поставил на стол пустой стакан, тихо сказал: — Ты уж как-нибудь осторожнее...

— Осторожничай не осторожничай, а что делать? Тоже, как и ты, корову на веревку да в Заготскот? Нет, брат, я еще потягуюсь! Зубами держаться за нее буду! Мать у меня в войну крышу соломенную скормила, все остожья на коленках излазила — руки, ноги из-за этого обморозила, но корову не порешила. А я... Да ты не бойся за меня, Федор, — немного успокоившись, снова заговорил Прокоп Захарович. — Я возик всего — не больше. А потом... Потом... Соломорезку-то мою никто никуда не увез — там в яме и осталась, ржавеет. Схожу завтра, приволоку ее — объеди буду резать и запаривать. Соломы, посмотрю, не осталось ли где. Продержусь я...

— Мам, куда он собирается ехать? — с опаской полюбопытствовал я, когда Прокоп Захарович скрылся за порогом.

— На кудыкины горы! Понял? — скороговоркой выпалил отец. — И чтоб ни в школе, нигде об этом ни гугу!

Понимающие кивнув головой, я ушел спать. В разрисованное морозом окно заглядывала полная серебристая луна, пробивались редкие звезды. «Куда это Петыкин отец собирается?» — думалось мне...

Утром все прояснилось. Еще не взошло солнце из-за распущившегося на морозе леса, забарабанили в окно.

Отец вышел на улицу и тут же вернулся обратно вместе с Клепиковым и Симаковым.

— Одевайся! — с ходу скомандовал управляющий. — Понятным будешь.

— Каким это понятным? — развел руками отец. — Никуда я не пойду! Не для меня такие обязанности.

— Ты ваньку не валяй! Не строй из себя этакого полуумненьского! — фыркнул на него Симаков.

— Собирайся, собирайся — нечего рассусоливать, — строго проговорил участковый, постукивая по полу каблуками. — Мы не шутки шутить приехали!

— А чего случилось? — продолжал упираться отец, не же-

лая ни одеваться, ни идти с ними.

— Не знаешь ты! — ехидно улыбнулся Симаков. — Лошадь вчера вечером не привели? Нет. Ну и раскусил я вас. В три часа ночи специально приезжал. Ехал, слышал: гужи и полозья скрипели, а подъехал — нет никого. И сани, и кобыла на месте. А следы-то остались! К Прокопу ведут. Сено он ночью с конюшни возил...

— А если точнее, — пояснил милиционер, — это называется не просто воровством, а по-другому: хищение социалистической собственности. Уголовное дело заводить надо. Поэтому одевайся — акт составлять будем.

— А ты не помогал ему случайно? — с прищуром посмотрел на отца управляющий. — Рожа-то, смотри, какая опухшая. Да и лошадь ты приводил и на ночь здесь оставил. На своей-то побоялись возить — жеребая. Надо было и ее увести...

— Ты что, сдурул, Афанасьевич, несусветное-то городище? — уставился отец на Симакова.

— Собирайся! Там разберемся!

Отец набросил на плечи полуушубок и, словно под конваем, ушел вместе с ними. Вернулся он скоро и был мрачнее тучи.

— Меня, дурака, сунуло вчера набраться как сапожнику, — проклинал он себя. — Увести бы лошадь, и ничего бы этого не было...

— А что? — боязливо зыркнула на него мать. — Что с Прокопом теперь будет?

— В суд, говорят, дело передавать будут. Тюрьмой страшнают...

— Да ну! — изумилась мать, не веря услышанному. — Господи, что же тогда с нами делается! У кого ни глянь — все не слава богу...

Недели две подряд Прокоп Захарович не показывался в деревне. Потом ему пришла повестка в суд, и он вместе с женой ранехонько утопал в райцентр. В тот же день Петькина мать, вернувшись с суда, заголосила на всю улицу: Прокопа на два года засудили!

Петьку после суда над отцом словно подменили. Обычно на переменах он вместе с другими мальчишками сломя голову носился по школе, по-разбойничьи свистел и держал девчонок за косички, а тут присмирил и до конца уроков не выходил из класса...

В понедельник после звонка на большую перемену все вскочили из-за парт. На месте остался один Петька. Он сидел, уткнувшись в книгу.

К нему, переваливаясь с ноги на ногу, подошел Ленька Поляхалов и горделиво встряхнул головой.

— А ты чего сидишь?

— Тебе не мешаю, — не отрываясь от книги, ответил Прокопенок.

— Нет, конечно. А все-таки почему?

— По кочану! Чего привязался?

— Вон оно, оказывается, почему — на смену отцу готовишься: сидеть привыкаешь.

Петьякошкой вцепился в грудь Полыхалова. Но Ленька был плотнее и выше его. Он въехал Петьюке в подглазицу кулаком, и тот, беспомощно взмахнув руками, отлетел к стенке.



Ленька, выпятив грудь, захотел на весь класс:

— Это тебе не сено с батькой воровать.

Петьяка, не обращая внимания на появившихся в дверях девчонок, озорно стрельнул глазами по классу, схватил с парты чернильницу и что есть силы швырнул в Полыхалова. Ленька, не ожидав такого поворота, не успел увернуться. Чернильница угодила ему в лоб и раскрылась. Лицо, рубаха и светлые выющиеся кудряшки Полыхалова покрылись фиолетовыми расплывающимися пятнами.

— Что у вас тут делается? — завизжала не своим голосом учительница английского языка, заглянувшая на шум в классе, а когда Ленька повернулся к ней своим фиолетовым лицом, она ахнула и выронила из рук классный журнал.

— Соболев! — опомнившись, закричала она на Петьюку. — Ты что наделал? В колонию тебя надо отправлять! Или лучше к отцу увезти, твори там чего хочешь!

Полыхалова подхватили под руки и увели к умывальнику, а Петьюку потащили в кабинет директора. Но он, выйдя из класса, сиганул через лестничные перила и бросился наутек.

Он не появился больше ни в школе, ни дома. А через неделю в учительскую пришла заревленная Петькина мать.

— Вот, — растерянно проговорила она. — Телеграмма от брата пришла, Петька-то у него. Безбилетником уехал и домой ни за что не хочет возвращаться. Так и написано: не приедет...

Директор взял в руки телеграмму: прочитал ее и сдвинул на лоб очки.

— Может, и к лучшему, что он уехал. Озороватый очень, а там в училище какое-нибудь поступит, специальность приобретет. Дисциплина там как раз для него — пожестче. Одно, считаю, плохо — тайком уехал. Документы мы выдадим, не задержим...

— Скажите, почему он убежал? А? Словно выгнала я его... Мне-то как быть?

— Успокойтесь — все будет хорошо, — бархатным голосом приговаривал директор. — Одумается парень, образумится. Там приструнят, направят на путь истинный. А здесь мало ли чего мог натворить, с такими выходками и до колонии недалеко... У нас и без него таких хоть отбавляй.

Без Петьки стало скучно, а он, как назло, долго нам не писал. Первое письмо прислал под весну, когда уже с крыши потянулись сосульки.

Пришло оно домой и почти неделю, дожидаясь нас, пролежало на подоконнике. Костик, увидав его первым, обрадованно воскликнул:

— Митька! Чего шиморишься? Иди быстрее — письмо принесли от Петьки!

Я быстро подскочил к брату и вырвал из его рук конверт. Письмо было написано мелким угловатым почерком. Петька сообщал, что учиться ему на токаря очень нравится, что его фотография как лучшего ученика помещена на стенде у входа в училища. Еще он писал, что ждет не дождется лета — дядька обещает на все каникулы взять его с собой в геологическую партию, которая ищет в горах разные руды и даже золото. Там они будут сверлить скважины, а ему, Петьке, доверят упаковывать в ящики образцы пород. В конце письма он пообещал нам, если разрешат геологи, прислать красивых разноцветных камушков, которые находятся глубоко под землей. И еще — орешков. На Урале, писал он, кедров в лесу что у нас елок...

В ту весну май взялся круто. Враз не стало утренних заморозков, поголубело, расчистилось небо, на лугах вдоль Журавки заизумрудилась молодая трава, а по вечерам за огородами, словно стараясь перекликать друг друга, хороводились и булькались в ямах лягушки.

В такую пору хорошо спится. Но в воскресенье понежиться, повалиться не удалось.

— М-м-у-у-у! — ставшее за зиму непривычным гортанное мычание коровы разорвало утреннюю тишину.

— Митька! — обрадованно воскликнул Костик, откинув одеяло. — Зорь... — голос его осекся, оборвался, словно внезапно выключенный репродуктор. Но брат тут же поправился и, чуть помедлив, добавил уже не столь радостным тоном: — Вставай, коров выпускают...

Мы высунулись в растворенное настежь окно.

На взгорке по ту сторону Журавки виднелась маленькая, похожая на теленка, корова Настасья Семеновны. Она не кидалась из стороны в сторону, как прошлою весною, вырывая веревку из рук хозяйки, а стояла смирно и протяжно мычала, зазывая других коров на свежую майскую траву. Чуть поодаль от нее стояла Настасья Семеновна. В руках у нее не было ни веревки, ни хворостины.

На улице появился Егор Васильевич. Он растворил широкую калитку и встал сбоку от нее, пропуская вперед медленно бредущую корову. Сзади, что-то приговаривая и ласково поглаживая ее, шла Мария Степановна.

— Смотри, — зашептал Костик, — корова-то еле идет.

Я промолчал. Мать рассказывала, что корова у них едва растелилась.

После отела она больше недели не вставала на ноги. Со входным ветеринар, осмотрев корову, отругал Егора Васильевича и его жену самыми последними словами.

— Вы что, изверги? — орал он благим матом. — Над скотиной так издеваетесь! Совсем заморили корову! Режьте, пока совсем с голода ноги не протянула.

Егор Васильевич не перенес таких слов, вытащил ветеринара за ограду и закрыл двери на крепкий березовый запор, чтобы надежно было.

— Дураки! — крикнул ветеринар с улицы. — Сдали бы с осени на мясо! Были бы с деньгами, а теперь с носом останетесь. У нее же одни рога да хвост. И меня чтоб больше к такой дохлятине не вызывать!

— Иди, иди, коновал чертов! — пригрозил ему из-за дверей Егор Васильевич. — И без тебя обойдемся!

Почти две недели он не смыкал глаз, не спала и жена: отваливались с коровой, нянчились с ней, будто с младенцем, и выходили, дотянули до новой травы. А теленок — маленькая, хилая телочка, которую летом хотели и уже договорились купить наши родители, — не дожил до весны. Егор Васильевич на себе утащил его в лес и захоронил в талую весеннюю землю...

Выйдя из ограды, корова остановилась рядом с похудав-

шим, осунувшимся за зиму хозяином и, покачиваясь на тонких костлявых ногах, вытянула вперед узкую морду. Но вместо мычания у нее получился короткий, едва доносившийся до нас хрип.

— Две остались, — с печалью в голосе проговорил Костик и отошел от окна. — Жалко, что у Егора Васильевича телочка умерла... Да, Митька. А то бы и у нас корова была. Зорькой были снова назвали...

Yладив парники, о чём мать наказывала нам с вечера, мы пошли в лес за удилищами и остановились у дома Шурки Толстобровой, глядя на опустевшие и будто прослезившиеся окна.

Нам никак не верилось, что нет и не будет здесь больше Нинки Стрекозы и ее матери. В апреле и в начале мая мы каждый выходной заходили в эту избу и спрашивали у Шурки Толстобровой — не привезла ли она из больницы Нинку. Но та только разводила руками.

— До лета, говорят, не выпишут. Затемнение какое-то нашли. С учебой, ладно, и отстанет, так не беда, — только бы вылечили. Худая, как жимолостина, стала. Недавно у нее была... Завтра снова собираюсь.

Шурка Толстоброва съездила тогда в больницу, а недели через две собрала все свои пожитки и переехала в райцентр — дом там купила...

Мы стояли около избы, словно ожидая, что вот-вот выпорхнет на крылечко Стрекоза. Но ее не было. На грядках в палисаднике, где обычно у Толстобровых буйно разрастались огурцы, кустился пырей, а около калитки валялась Нинкина однорукая кукла в заляпанном грязью платьице, сшитом из пестрых лоскутков.

Я поднял ее и, сполоснув в лужице, повесил на не посеревший еще, свежий штакетник, которым был обнесен палисадник. «А вдруг Нинка приедет, увидит свою куклу и обрадуется!»

Сенокос подошел быстро. Но на этот раз никто не гремел железом около амбара, созывая всех на совет. Начинался он тихо, незаметно.

Отец все так же рано утром уходил в соседнюю деревню — там они строили ферму, которой словно бы хотели удивить весь честной народ. Длинной эта ферма была чуть ли не с нашу улицу. Домой отец возвращался поздно и частенько навеселе. Мать начинала его пилить, но он всегда отговаривался, доказывая ей, что все эти вывихи от безделья — то гвоздей у них на стройке нет, то досок, то кому-нибудь крышу латали...

В то туманное утро он отправился на работу позже обыч-

ного — косы резал.

— Никуда не убегайте, — предупредил он нас, укладывая в истерпную полевую сумку свежие пупырчатые огурцы, зеленые луковые перья, краюху хлеба и бутылку с крепким и сладким чаем. — Косить будем сегодня!

Он, конечно, мог нас и не предупреждать. Клуб, куда мы прошлым летом бегали всей ватагой в кино, не открывался с весны. Аппаратуру из кинобудки увезли куда-то в другое, более людное место, а кто-то из мальчишек расхлестал из рогатки половину окон. И в эти зияющие в рамках дыры, спасаясь от непогоды, залетали воробы и галки. Подвыпивший отец поговаривал, что клуб этот им велено разобрать и распилить на дрова для новой фермы.

Мы ждали, что к сенокосу снова приедет Женька, но Егор Васильевич на наш вопрос только развел руками и просипел:

— Не приедут они ноне. Они же ездили не мед ложкой хлебать — сенокосить. А раз у меня коровы нет, то и им делать здесь нечего. На море собираются ноне.

Не было ни Петьки, ни Стрекозы. Скучно, тоскливо.

— Ну, мужики, пошли! — бодро сказал отец, вернувшись с работы.

Он подал мне косу, предварительно наточив ее, и мы вышли в огород.

— Ш-ш-швырк! Ш-ш-швырк! — пела в руках отца новая, отдающая синевой большая коса.

— Ш-ш-швырк! — эхом отзывалась моя. Она была очень легкая и послушная.

Мы неторопливо шли друг за другом, и позади нас потянулись зеленые травяные гривы, на которых белели ромашки, отливали голубизной колокольчики и краснели угольками потухающего костра клеверные головки.

Костик следом за нами разбивал покосы короткими деревянными вилами-троенцами. Он не спеша раскидывал подковшенную траву на голый, ощетинившийся лужок.

Потом пришла с телятника мать и тоже принялась за косьбу. Работалось легко, а когда село солнышко, коса, словно заведенная, щукой заметалась в пахучей росной траве.

— Не отставай! — не оборачиваясь, подбадривал меня отец.
— Да пошире захватывай, с разворотом!

Но, как я ни старался, мой валок все равно был тоныше, а отец все дальше и дальше уходил от меня.

— А что, Сима, может, и у Феофановича вытяпаем? — спросил отец, когда около забора были скосены последние хохолки травы.

— Да ты что? — воспротивилась мать. — Вчера же Симаков приходил — велел забор учителев разобрать и телят в ого-

род пустить. Специально, говорит, побываю и проверю.

— Ну и лешак с ним! — выругался отец. — Тогда, может, бабе Прокоповой поможем? Одна-то она зараз вряд ли выкосит.

— Хватился, — кисло усмехнулась мать. — К Анютке и без нас с тобой помощник подрядился.

— Уж не ветеринар ли рыжий?

— Он самый. Вчера вечером к ней приходил и сегодня уже примолохтал.

Отец, словно гусак, вытянул шею и посмотрел на огород Соболевых.

— Не видно, что косят.

— Готовятся, значит, — хмыкнула в ответ мать. — На это тоже время надобно.

— Заколобродила, видать, баба, — нарочито громко рассудил отец. — Прокоп узнает — башку ей за это, ей-богу, отрвет.

— А он уже либо знает, либо догадывается, — направляясь к дому, проговорила мать. — Письмо нам сегодня от него почтальонка принесла — про этого рыжего и спрашивает: правда или нет, пишет.

— Накось! — удивился отец. — До его-то как донеслось? Неужто по духу учゅял? И что отвечать будем?

— Не знаю.

— Напиши все, как есть. Пусть он ей, вертихвостке, покажет потом кузькину мать! А впрочем, — осекся отец, — зачем мужика расстраивать. Ему и так сейчас жизнь медом не кажется. А узнает про Анюткины выкрутасы, натворит там еще что-нибудь, сроку набросят. Напиши ему, что не видали, не слыхали... Все, мол, чередом идет.

Утром следующего дня мы с Костиком пошли на рыбалку в низа Журавки, туда, где прошлым летом всей деревней косили траву. Чтобы не делать криуля, мы направились прямушками.

— Смотри, — шепнул мне Костик, когда мы оказались за огородами. — У Прокопа Захаровича уже много выкошено.

Я на ходу обернулся и тут же замер: на приступках бани сидела Петькина мать в обнимку с ветеринаром. Она была в безрукавом полосатом платье, а он без майки, в засученных до колена штанах. Ветеринар, видимо, рассказывал ей что-то очень смешное, и Анютка, запрокидывая голову, рассыпалась смехом.

Перед ними на пустом перевернутом ящике, на котором Петька выпиливал из дощечек пистолеты и автоматы, стояла бутылка и тарелка с огурцами.

— Чего там? — завытгивался Костик, взглянув на мое растерянное лицо.

— Ничего! Пошли скорее! — подтолкнул я его в спину.

— А то на клев не успеем.

Мы, не оглядываясь, засеменили по тропинке. Пройдя густой, стоящий стеной ельник, очутились в небольшой ложбинке, со всех сторон окруженной лесом. Трава здесь была уже выкошена и подсохла, шуршала под ногами. От нее тянуло приятным сенным запахом.

— Кто здесь косил? — вопрошающе посмотрел на меня Костик.

Теряясь в догадках, я пожал плечами.

— Егор Васильевич, наверное. Ему отсюда всех ближе.

— Может, и он, — согласился со мной Костик, и мы снова окунулись в прохладу леса.

Рыба в Журавке клевала — только закидывай. Мы наловили почти полный бидончик ельцов и пескарей, вдоволь накупались и довольные побрели к деревне.

Снова оказавшись в лощине, мы оторопели: ни сена, ни копен не было. Кто-то, покуда мы рыбачили, сгреб и убрал всю траву, и только в самом верху ложбинки виднелась небольшая копешка.

Мы с Костиком переглянулись и, ни обронив на слова, стали подниматься на угор к ельнику.

— Митька, копна-то шевелится! — неожиданно заметил Костик и дернул меня за полу рубахи.

Поначалу я подумал, что он шутит или ему показалось такое, но, присмотревшись внимательнее, не поверил своим глазам. Копна сена едва заметно покачивалась и медленно ползла к лесу.

— Бежим! — сгорая от любопытства, кивнул я брату.

— Куда?

— Посмотрим, что там такое.

Оставив на тропинке бидон и удочки, мы стали продираться сквозь густые колючие заросли. Еловые ветви больно хлестали по лицу. Наконец чаща поредела, и мы, перебегая от дерева к дереву, лазутчиками прокралились на закрайку лощины и спрятались за ветвистой корявой березой.

— Где она? — пропыхтел Костик, выглядывая из-за моей спины.

Неподалеку от нас, около той «самоходной» копны, сидела Настасья Семеновна. Ее худые и острые плечи, с которых свисали широкие ремни, похожие на чересседельник, чуть приблизившись, то опускались.

Немного посидев, она глянула на плывущие по небу облака, перекрестилась и встала на ноги. Ремни сразу выпрямились, натянувшись струной. Концы их были привязаны к носилкам, подоткнутым под копну, а тонкая витая веревка обхватывала сено поверху.

Настасья Семеновна напряглась всем телом, сделала шаг, другой. Копна, покачиваясь, словно на тихих спокойных волнах, черепахою ползла к лесу.

Мы осторожно, чтобы под ногами не трещал сухой валежник, повернули обратно и понуро побрали к оставленным на тропе удочкам. До самого дома шли молча. В огороде Соболевых уже никого не было, а над их баней из высокой проржавевшей трубы тянулся хильд дымок. На приступках, где утром сидела Петькина мать с ветеринаром, лежало несколько свежих березовых веников.

Утром через два дня после той рыбалки к нам в избу вбежала испуганная запыхавшаяся пчеловодова жена.

— Сима! — крикнула с порога Мария Степановна. — Пойдем к Семеновне сходим! Корова у нее почему-то до сих пор не выпущена, и самой нигде не видать. Ладно ли с ней, а? Пойдем, Сима, а то я одна боюсь.

Она, не дожидаясь матери, снова грузно протопала по ступенькам крыльца. Следом за ней выскочила и мать. Шли они быстро. Мария Степановна всю дорогу размахивала руками и причитала, словно предчувствовала что-то недоброе.

В доме Настасьи Семеновны они пробыли недолго. Едва зашли — мать снова оказалась на улице и что есть духу побежала на конюшни.

— Митька! — крикнула она, пробегая мимо нашего дома.
— Сена быстрей неси и одеяло какое-нибудь!

— Какое сено? — переспросил я. — Зачем?

— Из города! Настасья помирает, в больницу везти надо!

Я на мгновение застыл в испуге. В глазах снова промелькнула плывущая по ложбине копна, худые острые плечи...

На помощь матери прибежал Егор Васильевич. Вдвоем они быстро запрягли в телегу недавно ожеребившуюся кобылицу, и она галопом понеслась под угор. Стороной, спотыкаясь о промоины и засохшие комовья земли, бежал тонконогий поджарый жеребенок.

Настасью Семеновну вынесли на руках и аккуратно положили на устланную сеном телегу. Егор Васильевич понудил лошадь.

— Быстрей, Егорко, гони! — крикнула ему вслед Мария Степановна. — Да врача-то там сразу найди!

Но врача Томилину искать не пришлось. Когда до больницы осталось около километра, Настасья Семеновна очнулась, широко открыла глаза и что-то заговорила. Егор Васильевич осадил лошадь, прислушиваясь к ее тихому невнятному голосу.

— Ты чего, Настасьюшка? — попытался он заговорить с ней, но она, не закрывая глаз, притихла. Ее иссеченное морщинками лицо застыло, сделалось бледным, будто восковым.

— Настасья, не помирай! — захрипел Егор Васильевич и согрел лошадь вожжами.

Телега забрякала, зазвенела ободьями рассохшихся, вихляющихся колес. Не выпуская из рук вожжей, он с опаской обхватил пальцами запястье худой, будто ребячей, руки Настасии Семеновны, и его тут же обдало жаром по всему телу...

Xоронили Настасью Семеновну всей деревней. Вернувшись с кладбища, сидели за столом, поминали. Ее единственный сын, приехавший на похороны из-под Москвы, молча разливал по рюмкам водку, а его жена Светлана — высокая и черноглазая, точь-в-точь цыганка — подкладывала в тарелки куски рыбы, свежей баранины, шоколадные конфеты.

Когда выпили и раз, и другой, раскрасневшаяся от духоты в жарко натопленной избе жена Прокопа Захаровича встала из-за стола и хотела было идти домой, мол, пора и честь знать — не на именины пришли, чтобы до полуночи рассиживать, но Борис, очень похожий лицом на свою покойную мать, снова усадил ее на скамейку.

— Да что мы, не соседи, что ли? — взмолился он. — Давайте посидим, поговорим. Виноват только, что при живой матери редко с вами встречался. А теперь вот когда увидимся? Да и увидимся ли еще?

Разговаривали тихо, словно боясь разбудить кого-то. Бабы наперебой рассказывали Борису о последних днях покойной.

— Как уж так получилось? Не хворала николечко!

— Да она все эти дни как заведенная была!

— Видать, так богу надо было...

Борис молча слушал разговорившихся вволю баб и немигающими глазами смотрел в простенок на портрет матери.

Выпили еще по одной и заговорили кто о чем.

— Смотри! — рубанув ладонью воздух, обратился к Борису Егор Васильевич. — Все у нас в деревне кувырком покатилось. Мать твоя померла — царство ей небесное. Прокопа в тюрьму засадили. Шурка — помнишь, бой-баба была, за хорошего мужика на сенокосе, бывало, ломила? — в район уехала. Дочке ейной далеко в школу ходить, да и болезненная она притом. Петька Прокопов в город сбежал. И осталось нас раз-два да и обчелся...

— Ты о Петьке-то не шибко горюй! Он у меня пристроен, — жеманяясь, повела плечами Прокопова жена. — Скоро и я уеду. Картошку вот выкопаю и до свиданьица, Егор Васильевич!

— Сдурела ты, что ли, Анютка? — уставился на нее Томилин и шлепнул себя ладонью по виску. — И куда же ты? Уж не с

этим ли ветеринаром, который к тебе сенокосить подряжался? С ним надумала уюльть? Быстро, однако, Прокопа забыла...

— А что я с ним видела? — взвилась Петькина мать и взмахнула руками. — Ни ласки, ни слова доброго! Свету белого не видала. Да что я, всю жизнь лошадью ломовой должна быть?

— Ох, Анютка, Анютка! — с укором взглянула на нее Мария Степановна. — Ты же потом по своему Прокопу собакой выть будешь. Ветеринар-то этот и ноготка его не стоит. Это он сейчас перед тобой лисонькой ходит, а потом — помянешь мои слова — каяться будешь...

— Может, буду, а может, и нет! Леонида в район переводят, квартиру хорошую дают, и оклад у него с конюховским-то не сравнишь!

— В квартире ли дело, — глубоко вздохнула Томилина. — Дом-то какой оставляешь, сколько лет в нем прожито. Неужто все позабудешь?

— Что дом-то! — вторила ей Петькина мать. — Да сгори он дотла вместе с бараклом! Кому он нужен, если вся жизнь кавардаком пошла. Ничего мне не надо! Все оставил, чтобы укору никакого не было. Свое с Леонидом наживем.

— Дура ты набитая! — взъерепенился Егор Васильевич и трахнул кулаком по столу. — Ты еще у Прокопа в ногах вляться будешь! Кто ты есть, а? Мельница ветряная!

— Егор Васильевич, — начал его успокаивать Борис. — Не время сейчас разбираться и спорить. Чужая семья, сам знаешь, потемки. Пусть поступает, как хочет.

— Это у тебя в городе в каменных клетках потемки, а здесь все свои, все на виду, — никак не унимался пчеловод. — Да я же Прокопа с безоштанной поры знаю как облупленного. Так она и мизинца его не стоит, а такое выкамаривает. А ну ее к лешаку! Налей-ка, Борис, еще стопочку...

— Очумел, что ли? — шикнула на него жена. — Налил зенки и еще, бесстыжий, припрашивашь. Раз не можешь себя по-людски вести, домой собирайся.

— Это пусть она, — мотнул он головой в сторону Петькиной матери, — пусть она себя по-людски ведет. А то идь хвост распустила, кобель ей потребовался.

Соболева фыркнула в ответ и встала из-за стола.

— Ты мне, Егор Васильевич, не указ. Уж если и ошибусь, винить никого не буду. И в свекры ты мне не навязывайся. Есть у тебя жена, вот и командуй ей, как вздумается, а в мою жизнь не встrevай!

Она поклонилась перед ним и вышла из избы.

— Вовсе, видать, спятила бабенка, — проговорила ей вслед Мария Степановна. — Да хоть бы мужик-то хорош был, а то

смотреть на его рыжую и пьяную образину противно. Таких бы ветеринаров и к скоту допускать не надо... А она к нему перемещается.

— А ваш брат, — преобразился и посветлел лицом Егор Васильевич, — на рожу особым внимания и не обращает. Другое вам подавай: денег побольше... Бабы и есть бабы, ну чего с вас возьмешь.

Пропело грозами и отшумело листвой лето. В деревне выкопали картошку, и Петькина мать сразу после огородов укатила в район. За ней приезжал сам ветеринар на стареньком газике с выцветшими и облезшими бортами. Они загрузили несколько тугих узлов, мешки с картошкой, и машина проплыла по деревне. Провожать их никто не вышел.

— Смотри, Федор, — тихо проговорила мать, когда газик скрылся из виду, — Анютка-то даже занавески не сняла. Может, и не наживет с ним долго. Авось одумается да и вернется обратно.

— Нет, — твердо ответил отец. — Не из таких она — на попятную не пойдет, а локти, наверняка, покусает. Ветеринарто, мужики сказывали, в соседнем районе три раза женился да разводные потом брал. Да и у нас уже не одну бабу сменил. Чего и говорить, он как белка на переходе — на одной елке долго не задерживается, ходом идет. Вот и с ней, наверное, так же будет. Скольз попутается, а все равно бросит.

Весь декабрь и январь не унимались трескучие морозы. И то ли от холода, то ли от напасти какой к весне у Егора Васильевича не осталось ни одной пчелиной семьи. Все сгинули. Он, проживший всю жизнь с пчелами, сразу же похмурел, осунулся, а в середине мая — как раз в самую пору посадки картофеля — его парализовало. Пробыв в больнице все лето, он так и не поправился. Егору Васильевичу с каждым днем становилось все хуже и хуже, а осенью он скончался в больничной палате. Марию Степановну сразу после похорон увез к себе в город дядя Валентин, наспех заколотив крест-накрест досками окошки птищенка.

У меня начиналась пора выпускных экзаменов. Мы целыми днями просиживали в опустевшем интернате, а вечерами до поздних сумерек лупили мяч на волейбольной площадке.

— Садись, к деду свожу! — предложил мне после очередного экзамена Васька Корешков. — Вчера он тебе заказывал. Бабушка, говорит, приболела да и соскучилась по тебе. Поехали!

Я, откинув в сторону надоевшие уже учебники, поудобнее уселся на заднем сиденье мотоцикла, и Васька лихо взял с места.

Дед сидел у раскрытого окна и, покручивая ус, в первую

очередь поинтересовался экзаменами. Узнав, что у меня с ними все в порядке, самодовольно крякнул:

— Не я ль тебе говорил, Пелагея, что внук-то у нас весь в меня — толковый! Экзамены ихние как орешки колет! А ты расстраиваешься из-за него, ночи не спишь.

— Ну слава богу, слава богу! — раскланялась бабушка и тут же спросила: — А после школы куда местишь?

— В институт поступать буду.

— Учись, учись, Митяй, — заприговаривала бабушка. — В люди выходить надо. Поучишься — начальником каким-нито станешь. Хоть и не большим, а нам и то в радость...

— А чего хорошего начальником быть? — усмехнулся дед.

— Я в начальниках отродясь не бывал, а жизнь прожил, думаю, не хуже других.

— А-а-а, — обернулась на него бабушка Пелагея. — Всю жизнь прожил, а ума ни на грош не накопил. Посмотри, жизнь как пошла: кто в начальники вышел, тот и живет кум королю, сват министру! Потому, Митья, раз в люди выбейся, а там уж само как по маслу пойдет...

— Не мели лишнего, — оговорил ее дед.

— А ты, Фрол, зенки-то свои протри! Не с похмелья, чай! Сидишь, как сова, и не видишь ничего, что делается вокруг. Барабанова знаешь? Шалтай-валай парень был, а поучился сколько-то по партийной линии — школой заведовать поставили. Как он заведовал — все знают. Чуть всю школу с дружками не пропадали, посреди села на карачках ползал. Чего ему после этого было? А ничего! Из школы убрали да начальником почты поставили. Там сколько пропьяниствовал! В район теперича перевели, райпом стал заведовать. Нашли тоже козла капусту сторожить. Неделю назад он по нашей деревне на легковушке проезжал, так башка у заразы на плечах не держится, так и мотается из стороны в сторону.

— Значит, если судить по-твоему, Барабанова, того и гляди, в область переведут, — сострил дед.

— И переведут, нас с тобою не спросят, — уверенно ответила бабушка. — А Симаков ихний не семь пядей во лбу, от Барабанова по разумению недалеко ушел. Но год-другой поучился — тоже перепихивают его с места да на другое. Хоть он, может, и дурак дураком, а с вилами да с топором по деревне не ходит, все в костюмчике... Поэтому учись, Митья! А еще, — бабушка с подозрительностью и опаской глянула в сторону деда Фрола, — как случай подпадет — вступай в партию. Партийные-то нынче в ходу, их охоче начальниками ставят.

— Ты чего, старая, городишь? — медведем рыкнул на нее дед. — Язык-то без костей, вот и мелет несусветное.

— Знаю я, чего говорю! — оборвала его бабушка. —

Партия, она многое дает. Мне про это почтальон наш не единожды сказывал, а он мужик пограмотнее тебя. Письмоносец так и говорил, что если бы Прокоп в партии состоял, то и суды бы над ним никакого не было, замяли бы все. Вот так-то! А скажи-ка мне, кто у нас в начальниках беспартийным ходит? Нет такиховых. А партейному-то, хоть он и проходимец какой, везде дорогу дадут.

— Дура ты! — буркнул дед. — Сталина на тебя нету, а то бы упрытали куда-нибудь подальше и не завычиверкивала бы больше такого. Ты еще кузнецу нашему, Ивану Сергеевичу, этакое бы сказанула. Он тоже партийный. И в партию вступал на фронте, чтобы в самое пекло первым идти. А ты ересь какую-то городишь и парня невесть чему учишь! Не слушай ее, Митька!

Дед Фрол встал из-за стола и вышел на улицу.

— Ей-богу, ничего не понимает, — проводила его взглядом бабушка. — До старости дожил, а будто света белого не видал. Ты, Митька, учись, как надумал. А не возьмут — там, почтальон тоже сказывал, за поступление деньги стали выманивать — все равно уезжай куда-нибудь. Хоть к Мишке в Ленинград, а то зазря пропадешь. Вишь, что делается кругом. Пить-то как все стали! Раньше такого сраму не бывало, чтобы неделями на работу не ходили, не просыхали от водки. Поезжай, а мы как-нибудь и здесь свой век докоротаем. Немного, поди, и осталось. А ты здесь либо алкоголиком станешь, либо в тюрьму угодишь. Батька твой, смотри, как зачастил: каждый день всей бригадой лопают и меры не знают. Бригадиру ихнему, говорят, уже черти мерещатся. Совсем скоро с пьяники свихнется или окочурится — в ящик сыграет.

Дед побродил под окошками, вернулся обратно и снова уселся на свое место за столом.

— Уезжай, Митька, — еще раз повторила бабушка Пелагея, когда на дороге затаращил Васькин мотоцикл.

— Да коли он в свой институт прошляпит, то никуда и не уедет, тут и останется, — не подымая глаз, тихо проговорил дед Фрол.

— Как так? — удивилась бабушка. — Неужто Мишка его не пристроит.

— А очень просто, — рассудительно начал дед. — Если в институт не поступит, то ему в город дорога заказана. Паспорта нет, и не дадут, а без этого документа Митьку твоего ни в одном городе не пропишут и на работу не примут. Букашка он без паспорта, поняла? Где-то ты, Пелагея, черезсчур умна, а этого не уразумела.

Дед Фрол был прав. Для получения паспорта нужна была сельсоветская справка, а ее нам ни в какую не давали — запрет на это наложен был откуда-то сверху.

— В город смотреться думаете, работать не хотите? Воспитали вас, бездельников! Не ходите и не упрашивайте! — прогнал нас прочь председатель сельсовета.

Уходил, отцветал май. Приближался последний школьный экзамен. Но о нем мы заботились и тревожились куда меньше, чем о той сельсоветской справке. Проще всех было Ваське Корешкову. У него тетка в сельсовете работала. И перед самым экзаменом он укатил в райцентр, а под вечер необычайно радостный появился на стадионе и, завороженно улыбаясь, отозвал меня с волейбольной площадки.

— Митька, показать чего-то?

В ответ я пожал плечами: смотри, мол, дело твое.

Я ожидал какого-нибудь подвоха, но Васька огляделся по сторонам и, не увидев никого любопытствующих — все были заняты игрой, — вынул из бокового кармана небольшую тонкую книжицу, аккуратно обернутую тетрадным листом.

— Паспорт? ! — вырвалось у меня.

— Он самый! — с гордостью, но вполголоса проговорил Васька. — Теперь я — птичка вольная. Не поступлю никуда — к брату в Симферополь махну. Чихать мне теперь на все ихние запреты!

— Дай посмотреть!

— Нет, не здесь, — помотал головой Корешков. — А то увидит кто, по десятое число тетке моей выпишут. Она никому не велела об этом говорить. Это я только тебе, как другу.

Васька бережно положил паспорт обратно и похлопал себя по карману.

— Теперь, Митька, полный порядок! Как оно говорится: молодым везде у нас дорога, но, — погрозил он пальцем и кисло улыбнулся, — но не всем. Мне — да!

Вскоре паспорта стали появляться и у других. Долговязому Женьке Парамонову, которого в мае чуть ли не за шкирку вытурили из сельсовета, сам председатель принес справку на дом. Женькина мать, когда ему отказали со справкою, накатала письмо какому-то своему родственнику в Москву. Ответ от него пришел на сельсовет, и в тот же день председатель зашел к Парамоновым.

— Справочку вот принес, — ласково проговорил он с порога. — Можно бы, конечно, и не жаловаться. Извините уж, коли так вышло...

Нинке Криуляевой справку достали через участкового Клепикова. Ее отец за эту крохотную бумажку два дня отпаивал его водкой.

Сдав последний экзамен, я сразу направился домой. Пошел прямиком — полями и лесными тропинками. Погода была солнечная, по-летнему жаркая. В кустах весело щебетали пичужки.

Но меня ничего не радовало. Я всю дорогу сожалел о том, что у нас из родни нет никого ни в сельсовете, ни где-нибудь повыше, а то бы с паспортом не было никаких проблем.

В деревне я появился около полудня, но отец был уже дома и сидел за кухонным столом с редковолосым, седобровым бригадиром. Перед ними стояла ополовиненная бутылка «Московской».

— Справку, говоришь, сельсоветскую надо? — покачиваясь на шатком скрипучем стуле, переспросил отец. — А зачем?

— Паспорт получить.

— А что, не дают ее?

— Нет.

— Раз не дают, значит, и не надобен он тебе, — сердито проговорил отец. — Я всю жизнь без паспорта живу. Семенович, — кивнул он на бригадира, — тоже беспаспортный. И ничего. Не хуже людей... И ты проживешь, понял?

Я, конечно, понял и, кивнув ему в ответ головой, вышел из избы. Но понял то, что сегодня с ним говорить об этой справке было без толку. Выпивши, он делался нервным, крикливым, а то, наоборот, плаксивым, как ребенок. И частенько, прия с работы на развезях, отец усаживался за стол и колотил по столешнице крепко стиснутым кулачищем.

— Одни! Одни в деревне остались! Что будем делать? Как жить?

В такие минуты мы старались не попадаться ему на глаза и, пока он не затихал, не выходили из спальни или кухни. Накричавшись до хрипоты, он поворачивался к окну и долго смотрел на пустынную деревенскую улицу, на заколоченные досками окна дома Томилиных, на покосившуюся, заросшую репьем и крапивой небольшую избушку Настасии Семеновны, а потом, положив голову на подоконник, засыпал непробудным сном.

Когда бригадир вышел из дома и неуверенной походкой направился вдоль по деревне, я вернулся в избу. Отец лежал на заправленной кровати в сапогах и холщовой рабочей куртке и негромко всхрапывал. Под моими ногами валялась его полевая сумка, в которой он носил с собою обеды. Из нее сквозь скрученную из газеты пробку сочился на половицу густой, липкий чай.

Утром отца словно подменили. Он ранехонько подошел к нашей кровати и, опасаясь разбудить спящего рядом со мной Костика, потрепал меня за плечо и спросил:

— Чего у тебя с паспортом-то получается? Я вчерась спьяну-сдуру и не разобрал что к чему. Мать говорит, справку какую-то надо?

Выслушав меня, он негромко рассмеялся, обдав меня винным перегаром.

— Не беда это, Дмитрий! Нашел из-за чего нос вешать! Сегодня же эта справка у тебя будет. Вчера мы этому председателю сорок листов шифера проюрнули — гараж себе хочет строить. Две литровки обещал выставить, хотел сразу привезти, да кукиш показал. Его же своим и угощали, дурни этакие. Он теперь за этот шифер, что ни говори, а ворованный, любую бумагу накатает. А ты куда думаешь? — немного помолчав, спросил отец.

— В технологический, — ответил я без запинки.

— Неплохо, — утвердительно кивнул он. — Пробуй, поступай. Технология тоже, говорят, наука неплохая. А уж покуда я жив, учитесь. Последнюю копейку выложу, но чтобы у вас все чередом было. А не поступишь, поезжай куда-нибудь в город — здесь не оставайся! Все мы тут пропащими людьми стали. И я, и бригадир наш, и этот же Симаков. Все, сынок, рушится. На ферму уже баб из заключения привезли, они, может, за убийства сроки отбывают, а им коровенок совхозных на растерзание отдают. Мы-то хрень с ним, нажремся этой водки — и море по колено, а вот скотинушку жалко...

Через полчаса отец поехал в сельсовет на оставшейся в деревне старой и почти обеззубевшей кобыле. Вернулся он поздно и едва держался на ногах. Правая щека его была рассечена, а новый темно-синий костюм белел пятнами пыли.

Он остановился у порога.

— Ты не смотри, что я такой, — заикаясь, пробормотал он. — С лошади черт сбросил. А с-с-справка, справка есть! В-в-вот она.

Отец шарил по карманам и, отыскав справку, подал мне.

— Знаешь, — начал он снова, опустившись на пол, — пришло ему литровку выставить. И еще, говорит, мало — гвоздей шиферных просит.

В середине июля пришел вызов из института, который, как мне казалось, откроет дорогу в новую, доселе неизвестную жизнь.

В день отъезда не спалось почти всю ночь. Я рано встал с постели. Отец одиноко сидел на кухне и неспеша курил:

— Спал бы да спал, рано еще.

Взгляд его был грустный и унылый. Глубоко вздохнув, отец сгреб со скамейки замусоленную фуражку и поднялся из-за стола.

— За лошадью пойду. Проверь хорошенко — все ли взял, не забыл ли чего.

Но в плотно упакованный чемодан я не стал заглядывать: там уже все было проверено и перепроверено не один раз. Я побродил по огороду, а потом вместе с Костиком проводили на выпас овец. И туда, и обратно шли молча, предчувствуя долгую разлуку.

Отец привел из соседней деревни молодую пегую кобылу, запряг ее в телегу и прогрохотал на ней к дому. Перед тем как отправиться в путь, мы присели на скамеечке под окнами.

— Поехали! — первым встал с места отец. — Пора уже.

В телегу, чтобы мягче было сидеть, бросили несколько старых фуфаек.

— Н-н-но! Пошла! — скомандовал отец, понуждая кобылицу.

Он сидел впереди, держа в руках вожжи, а мы с Костиком — позади. Мать с нами не поехала и, оставшись под окнами, прокричала нам вслед:

— Головой там шибко не крути! Сдавай экзамены и учись хорошенько! И не пе-е-ей!

— Не маленький он, сам понимает, — обернулся отец. — Вот раскудахталась! Нет бы десяточку-другую сунуть, а она одно заладила — не пей да не пей. Что мне, что тебе. Вот баба.

Мы медленно выезжали из деревни. Отец нарочно поехал не по дороге, а по тем самым местам, где мы с Костиком в первый раз пасли нашу пеструю быстроногую Зорьку.

Я зажмурил глаза. Высокие распустившиеся ромашки били по ногам. Напахнуло цветущим клевером, прелой соломой от стоящего неподалеку овина, свежими грибами. Наверху в глубоком голубом небе без умолку переливался жаворонок, предвещавший ведренную погоду.

В соседней деревне на нас набросилась стая разномастных собак. Они, оскалив зубы, неистово лаяли, пытаясь вцепиться в свисавшие с телеги ноги, забегали вперед лошади. Отец отгонял их короткой хвостиной. Собаки отскакивали в сторону, сшибая друг друга с ног, клубками перекатывались по дороге и снова скалились, заливаясь безудержным лаем.

На краю деревни нам повстречались две незнакомые женщины. Одна была в поношенных хлопчатобумажных штанах и кирзовых сапогах, запыленных до белизны. Под штаны была заправлена клетчатая мужская рубаха с закатанными по локоть рукавами. Черные, свисающие сосульками волосы перехвачены цветастой косынкой. Изо рта женщины торчала дымящаяся папироса. Ее напарница была в резиновых литых сапогах и коротком полосатом платье. Она тоже курила, небрежно придерживая папиросу пальцами.

Когда телега с грохотом пронеслась мимо них, та, которая была в штанах, со всего маху пнула сапогом маленькую отставшую собачонку. Собачка рукавицей отлетела в сторону, перевернулась несколько раз на обочине дороги и, поджав хвост, пулей бросилась в подворотню крайнего дома.

— Это доярки завозные, — пояснил отец, когда мы выехали за деревню, оставив позади и свору собак, и этих положенных-щин-полумужиков. — Из заключения привезли.

В институт я не поступил: математики не опасался, казалось, что всю ее от корки до корки знал назубок, а на него как раз и засыпался. И вместе с Витькой Никитиным — таким же неудачником и из такой же обезлюдевшей деревни — устроились на механическом заводе учениками токаря.

Недели через две пришло письмо от Костика. Он писал большими округлыми буквами:

«Приходил из тюрьмы Прокоп Захарович. В первую ночь ночевал у нас. Он сильно похудел, и мать говорила, что стал похож на Кощя Бессмертного. В тот день они с папкой сильно напились. Прокоп Захарович был очень смешной. Он то пел длинные тюремные песни, то ревел на всю избу и сильно матерился. А утром в деревню приходил Симаков, и Прокоп Захарович по всей улице прогнал его с матюками, а около Настасьиного дома настиг и саданул ножом в спину. Симакова папка на лошади в больницу увез, а Прокоп Захарович пешем ушел в милицию и нож туда же отнес. Его теперь, мамка говорит, снова в тюрьму засадят, и, наверное, надолго, если Симаков не оздравеет.

Кроме этого, у нас в деревне еще одно горе приключилось. Вчера лошадь наша сдохла — в яме за овином закопали. Юлька-письмоноска замуж за какого-то лысого из города вышла. Теперь почту к нам никто не носит — когда папка, когда я. Поэтому пиши на школу, а то письмо может и затеряться...»

Заводскими учениками мы с Витькой оказались прилежными и уже к весне токарили вовсю. Наш наставник при каждом удобном случае подкалывал других, мол, учитесь у меня, каких я токарей из школяров сделал, не всякому из вас поддадутся! Хвалился он не зря. На первых порах этот горбоносый и юркий старичик глазу с нас не спускал, то приголубит, то вдруг такого трепу задаст, что только держись! Особенно не любил он беспорядка на рабочих местах и нас приучил к этому.

Но однажды после майских праздников мне пришлось нарушить это правило и оставить станок неприбранным, неухоженным. В самый разгар рабочего дня я бежал сломя голову на вокзал.

— Куда прешь? — схватил меня стоящий в очереди за билетами усатый подвыпивший верзила. — В морду захотел, что ли?

— На, смотри! — сунул я ему под нос телеграмму.

— Так бы и сказал сразу, — промямлил тот и успокоился. — А то, знаешь, лезут тут всякие, не разбери-пойми откуда и народу столько навалило... И куда это все едут?

В поезде я больше суток не смыкал глаз, не веря этой скучной на слова, но тревожной телеграмме. В душе запала и никак

не иссякала надежда, что это какая-то ошибка или недоразумение.

Но все было на полном серьезе. Отец с мужиками перекрывали на зернотоке крышу. В обед изрядно выпили, и он, не удержавшись на верхотуре, упал на бетонную плиту и насмерть расшибся.

Мать встретила меня около калитки. Она была вся в черном. Ее глаза неузнаваемо провалились и покраснели от слез и бессонницы. Она бросилась ко мне и громко зарыдала, затряслась всем своим хрупким телом. Я, не выпуская из рук крохотного чемоданчика, едва сдерживал ее — меня тоже начала бить дрожь.

Вслед за ней на крыльце появился дядя Миша. Его поседевшие волосы были всклочены и торчали во все стороны. Он подошел ко мне, до боли прикусив нижнюю губу, и, смахнув набежавшую слезу, опустил на мое плечо тяжелую волосатую руку.

— Крепись, Митяй!

На кладбище поехали на гусеничном тракторе. Скрипучая телега с высокими искромсанными бортами юзила по непропущенной весенней дороге, и иной раз казалось, что она вот-вот ухнет в заплывшую грязью канаву и перевернется. Гроб с отцом мотало из стороны в сторону, и мы с дядей Мишей едва удерживали его.

Вернувшись с кладбища, все сели за стол. Тракторист, намотавшись в дороге, выпил рюмку водки и, тихо извинившись за такую езду, словно он был в этом виноват, вышел из избы и уехал.

За столом остались дядя Миша, бабушка Пелагея, мы с Костиком и Зинка Барабанова. Деда Фрола не было. Когда он узнал о случившемся, с ним стало плохо, и его полуживого спешно отправили в больницу.

Зинка Барабанова сидела за столом напротив меня, и я сразу ее узнал. Это она, когда отец провожал меня на лошади, так бежалостно пнула подвернувшуюся под ноги собачонку. Пока мы ездили на кладбище, они с бабушкой хозяйничали в доме — прибирались и накрывали стол. Зинка за это время, видать, успела крепко поддать и за поминальным застолием громко разговаривала. Голос у нее был хриплый, прокуренный.

На Зинке была все та же клетчатая рубаха с закатанными по локоть рукавами. И когда она облокачивалась на столешницу, на руке у нее отчетливо виднелась татуировка: «Люблю тебя, Андрюха!» Буквы были витиеватыми, иссиня-черными.

— Что зенки выпутил? Не видал, что ли? — перехватила она мой взгляд. От неожиданности я оторопел и даже вздрогнул. Дядя Миша посмотрел на меня, потом на Зинку и, видимо,

ничего не сообразил — наколки на руках ему не были видны.

— Красиво намалевано? — сощуренным пристальным взглядом посмотрела на меня Барабанова. — Тогда посмотри еще!

Она задрала рукав выше — там во все предплечье была выведена тушью пышная роза.

— Это еще не все! — искривилась Зинка в хмельной улыбке, отгибая подол рубахи, под которым на животе открылась татуировка кисти руки с опущенным вниз указательным пальцем.

— Ты где находишься? — крикнул на нее дядя Миша.

— Не ори! Не дома! И дома не ори! — отрывисто, резко ответила ему Барабанова. — Раскомандовался тоже.

Она подхватила стоящую на столе рюмку водки и выпила ее залпом.

— Нашелся тоже, ухарь какой. Не таких еще видали...

— Выйди вон, чтоб твоим духом здесь не тянуло, — не отставал от нее дядя Миша.

Зинка состроила ему глазки, покорно вышла из-за стола и уселась на скамейку.

— Михаил, не надо, не шуми, — тихо проговорила мать.

— Смотреть я на ее буду!

Барабанова как ни в чем не бывало, закинув ногу на ногу, вынула из кармана заплатанных брюк пачку «Беломора» и демонстративно закурила.

— Шуми-шуми, да вперед шевели мозгами, — пыхнула она в сторону дяди Миши кудряшками дыма. — Ты, милый, не сегодня-завтра укатишь восвояси. А мы с твоей сестрой жить будем. Зде-е-ся.

Мать, навалившись на плечо дяди Миши, после таких слов громко запрчитала, а Зинка вразвалочку подошла к столу, опрокинула еще одну стопку водки и хлопнула дверями.

— Не надо было так с ней, — сквозь слезы заговорила мать.

— Мы же с ней телят вместе кормим...

— Навезли этих тюремщиков, — забормотала бабушка Пелагея. — Ни ладу, ни складу с ними нету. Того и гляди, башку кому отвернут либо петуха красного пустят. Им что здесь, что в тюрьме — все одно.

Дядя Миша шумно вздохнул и покачал головой:

— Вижу я, что и тебе, Сима, пора отсюда уезжать. Правильно я, Митяй, говорю?

Я на мгновение растерялся от такого неожиданно возникшего вопроса, но все же согласно кивнул головой.

— Видишь, и Митяй так же думает, — продолжил он. — Это она при мне такая задиристая, а без меня? Да она тебя выпотрошит, обдерет как липку и по миру пустит...

— Не знаю, не знаю, что и делать теперь! — вновь занялась ревом мать и запричитала на всю избу. — Федор! Федорушко! Ты куда ушел? На кого ты нас оставил? Как мы жить-то теперь без тебя будем? Федя-а-а!

Все следующее утро мать с бабушкой стирали отцовские штаны и рубахи, а мы с Костиком на коромыслах носили их к Журавке. Там хозяйничал дядя Миша. Он в закатанных до колена трико стоял на переброшенной через речку половице и полоскал белье.

Мать, чтобы в эти дни не ходить на телятник, тайком от дяди Миши утащила Зинке Барабановой бутылку водки и что-то еще на закуску. И когда дядя Миша узнал об этом, сморщил лицо.

— Ты что, очумела? Так и приучила ее. А она напьется, скотину вдруг погубит или телятник спалит, тебя же и накажут.

— Ничего начальство не сделает, — отмахнулась от него мать. — Сам Симаков вместе с ней водку частенько трескает. После получчки неделью у нее ошивался, из дома не вылезил, покуда все деньги не просадили. Вот так-то. А она без бутылки к моим телятам и близко не подошла бы, скорее, наоборот, какой-нибудь сулемы им подбросила, чтоб заболели...

Три дня пролетели как один — быстро и незаметно.

— Отдохни, Митяка, — предложила мать в канун отъезда.
— Всю работу не переделаешь, все равно останется. Много ее...

Но дома не сиделось. С половины дня я вышел за калитку и до позднего вечера не заявлялся в избу. Сходил к стоящему на крутогоре дубу, на котором почти все осталось по-прежнему. Шурша высокой прошлогодней травой, побывал в низовьях Журавки, в том самом лугу, где, скрываясь от глаз людских, косила и таскала на себе сено Настасья Семеновна. За густым ельником на маленькой полянке наткнулся на остатки сожженного стога. Я ковырнул носком отцовского сапога прибитую талыми снегами и весенними дождями золу. «Чье это было сено? Кто его сжег? Не эта ли зора отняла у кого-то последние надежды, последнюю веру в нашу деревню?...» Ответа на эти вопросы не было. Молчала тяжелая намокшая зора, молчали окружавшие меня со всех сторон молодые пахучие елочки, молчала за лесом опустевшая деревня.

За окопицу меня провожали все, а за деревней со мной остался только дядя Миша.

— Слушай, Митяй, мы вчера, пока ты по округе шастал, поговорили о том о сем. Решили так: увезу я их к себе под Ленинград. Симу там с лапочками возьмут. И квартира, и огород будет. А фермы в нашем пригородном совхозе не чета здешним — и близко не поставишь. Чего им здесь пропадать — одна Зинка Барабанова чего стоит, живьем съест.

— А мне что, — с грустью ответил я, оглядываясь на исчезающую за перелеском деревню. — Мне же в армию вот-вот, а там видно будет. Как они сами решат...

— Я им то и втремяшивал, что ты уже ломоть отрезанный, не помощник ей. Да еще Костик подрастет — одна останется? Увезу я их. Что делать, если житуха здесь такая пошла...

Мы остановились. Я несколько минут простоял молча, глядя в промежуток между деревцами на оставшуюся позади пустынную, словно вымершую, деревню. Под окнами нашего дома все еще стояли Костик и мать, прощально махали руками.

Распрощавшись с дядей Мишой, я быстро пошагал по знакомой с детства тропинке. Шел, не зная, не предугадывая того, что уже через месяц я получу от Костика письмо из-под Ленинграда, что в Чудиновке к сенокосной поре уже не будет никого. Но что-то тяжелое, невидимое наваливалось на мою грудь...

«Мы живем хорошо, — писал во втором письме Костик. — Мама на ферме дояркой работает. Ее на работу на автобусе возят. Душ там есть, и я даже один раз там мылся. К зиме дядя Миша перевезет сюда и бабушку с дедушкой. Они у нас будут жить. Места хватит. Квартира большая — не меньше, чем наш дом. Отпуск будет, приезжай...»

* * *

Чем ближе подходил я к окраине леса, тем сильнее и отчетливее ощущал биение своего сердца. Оно стучало то учащенно, то замедленно, отдавая болью в висках. В глазах то прояснялось, то становилось туманно. Перехватывало дыхание.

Я остановился, навалился на тонкую белоствольную березку, нащупал в кармане колбочку с валидолом, которую, несмотря на все мои протесты, жена положила в пиджак.

Придя в себя, я не спеша побрел к полю, показавшемуся сквозь редкие березки. На нем зелеными проплешинаами поднималась хилая озимая рожь. Там, где была деревня, одиноко стоял покерневший, покосившийся дом. Не было ни конюшни, ни амбара, не виднелось на берегу Журавки и густой зеленеющей шапки дуба.

Я свернул с измешанной гусеничными тракторами дороги и направьюю пошагал к окраине деревни, туда, где когда-то жила Нинка Стрекоза.

На месте дома Толстобровых покоилась невысокая, заросшая лебедой и репейником горка — остатки глинобитной печи. Там, где была калитка, лежал едва заметный в траве истрескавшийся, полуистлевший сутунок. Я тронул его ногой и, не понимая зачем, откатил в сторону. Под ним виднелась узкая извилистая нора мышки-полевки, а из-под белесой, засохшей



на июльской жаре плесени выставлялось что-то желтое, пластмассовое.

Я наклонился. «Боже мой! Да это же Нинкина кукла!» Пригрев на корточки, осторожно коснулся пальцами крохотной и холодной ручонки, потянул ее на себя. Приподнялась, сухо зашелестела плесень, захрустели длинные узловатые коренья пырея.

Цветастого платья, сшитого Стрекозой, на кукле не было. За столько лет оно, должно быть, сопрело. Из капроновых, по прежнему огненно-рыжих волос посыпались на траву черные земляные муравьи.

Отряхнув куклу, я обтер ее ладонью и посадил на откаченный в сторону сутунок. «Эх, Стрекоза, Стрекоза! Где ж ты теперь?»

Кругом трещали невидимые в траве кузнечики. Над цветущим клеверным кустом кружился и никак не мог выбрать место для посадки мохнатый шмель. Мимо меня порхнула и скрылась за спиной ярко-пестрая бабочка.

Я закурил и еще раз взглянул на потрескавшиеся, намалеванные краской куклины глаза, тоскливо и печально смотревшие поверх моей головы, и без оглядки пошагал по бывшей деревенской улице.

Проходившая по заброшенным и заросшим огородам дорога была изрезана глубокими колеями, в которых стояла мутноватая зеленеющая вода. На ней беззаботно прыгали водомерки, кружились паучки. Трава на месте нашего дома взметнулась чуть ли не в мой рост. Белая мучнистая пыльца посыпалась на полы пиджака и брюки. Около бывшей конюшни возвышался куст большелистного колючего татарника, а неподалеку от него стояли три тонкоствольные рябинки, посаженные мною и Костиком, когда я заканчивал школу. Они почти

не изменились, стояли такими же кудрявыми и ветвистыми, словно и не было для них этих двадцати лет.

Войдя в огород, я пристально всматривался в высоченную траву, опасаясь оступиться в скрытый разбушевавшейся зеленью колодец. Под ногами глухо взгромело. Я отпрянул назад и раздвинул траву. Предо мною показалась груда прокопченных, замшелых камней. Под ними юркнула, промелькнула стрелой вертлявая ящерица. На верхний камень прыгнул голенастый зеленый кузнечик, завертелся на нем и прострекотал в сторону рябинок.

Неожиданно для меня совсем рядом раздался чистый, пронизывающий насквозь звук натачиваемой косы. Я обернулся и замер. Напротив меня за рекой кто-то в длинной навыпуск рубахе держал в руках косу, видимо, заметив мое движение, приставил ко лбу ладонь козырьком и смотрел на меня. У него под ногами была небольшая горка свежескошенной травы. «Неужели Прокоп Захарович? — мелькнула догадка. — Живой?»

Не отрывая глаз от стоящего за рекой мужика, я быстрыми шагами направился к нему. А он, словно околдованный, стоял неподвижно, оцепенело, держа в одной руке косу, а другой прикрывая глаза от яркого июльского солнца.

Это был он — Прокоп Захарович. Я подошел к нему шага на три и остановился. Он смотрел на меня одичальными глазами, чуть приоткрыл беззубый рот. Лицо его было иссечено густой сеткой мелких и глубоких морщин, а из-под серой с разбухшим и протертым до картона козырьком фуражки свисали длинные седые волосы. Нижняя губа Прокопа Захаровича едва приметно тряслась.

— Здравствуй, Прокоп Захарович!

— Здра-а-а-вствуй, — растерянно протянул он и, глядя во все глаза, добавил: — А ты кто такой будешь?

— Не признаешь? Я же свой, здешний.

— Н-н-нет, — с обидой и досадой ответил Прокоп Захарович. — Не узнаю.

— Митька я! Федора Кузьмича сын. Мы на том угore жили...

— Какого Федора? Не знаю...

Я смущился, переступил с ноги на ногу и с опаской посмотрел на Прокопа Захаровича: все ли у него с головой ладно.

— Мать телят кормила, брат Костик был, — еще раз попытался я пояснить. После этих слов лицо Прокопа Захаровича переменилось. В прищуренных глазах сверкнула нескрываемая радость.

— М-м-митька! Приехал! — с хрипом и шипением вырвалось у него из груди. — Митька!

Он выпустил из рук косу и протянул мне костлявую ладонь.

Она почему-то показалась мне по-детски маленькой и холодной. Мы крепко обнялись.

— А я думал, кто это в огороде ходит... Приехал? — он во-сторженно разглядывал меня, словно не веря своим глазам, потрогал меня рукой. — Присядь, отдохни с дороги! — предложил он мне и сгреб в кучу только что скошенную траву. — Да нет, чего это я — ошалел, что ли? Пойдем в избу! Такой гость приехал; а я его на лужок усаживаю. Пошли!

Шел он медленно, почти не отрывая ног от земли, тяжело и хрипло дышал. Дойдя до покосившейся избы, он распахнул передо мной двери.

— Здесь я и живу. Проходи, пожалуйста.

Воздух в доме был тяжелый, затхлый. Тянуло гнилью и сыростью. Около порога стояла обшарпанная и давно не беленная маленькая печка с лопнутой пополам чугунной плитой. С окон свисали прокопченные до желтизны занавески.

— Проходи, проходи, Дмитрий! Чего в кути остановился? — подхватил меня за руку Прокоп Захарович. — Так вот я и живу.

В зале стояла незаправленная кровать, над нею в знакомой мне с детства резной рамке висел портрет Петьки. Над столом с остатками еды жужжали, роились мухи.

Я присел на лавку, тянувшуюся вдоль всей стены, и сразу же отыскал на ней зарубину, которую сделал Петька незадолго до суда над Прокопом Захаровичем. Он тогда выпиливал из фанеры крышку для посыльного ящика, чтобы отправить отцу папиросы и теплые носки.

Хозяин, шаркая подшитыми валенками, метался по избе. Придя в себя, он убрал со стола, смахнул рукавом оставшиеся хлебные крошки в ладонь и осторожно, словно боясь их обронить, унес на кухню.

— Так, Дмитрий, и живу, — вновь подойдя к столу, развел он руками. — Один-одинешенек. Да и в родне у меня никого не осталось.

— Как никого? А Петька?

— Нет его больше. В армии служил, на сверхсрочную остался, а вскорости и известие пришло — погиб при исполнении. На юге где-то был, на границе, а как там и что — не знаю. Вон, — Прокоп Захарович ткнул пальцем повыше моей головы, — его последняя фотография. Нина Толстоброва прислала. Он с ней переписывался. От нее я и узнал о Петькиной погибели, я же тогда второй срок отсиживал...

Я обернулся на стену, куда показывал Прокоп Захарович. Там была аккуратно прилажена небольшая фотография, с которой весело улыбался Петька в форме старшины погранвойск.

— А Нинка молодец, — покачал головой Прокоп Захаро-

вич. — На врача выучилась. Один раз со всеми своими детками сюда приезжала, ко мне заходила. Прослушала меня всего, осмотрела, а потом лекарств каких-то прислала. Хорошо помогли. И сейчас не забывает, нет-нет да и карточку с поздравлением пришлет. А мне, старику, чего больше надо...

Боясь неосторожным словом обидеть и так уже расстроившегося и взволнованного Прокопа Захаровича, я сидел молча, глядя на его морщинистое лицо. Мне было неловко и тяжело смотреть ему в глаза: «Нинка молодец. Она не забыла, а я?..»

— То, что отсидел, — продолжал разговорившийся хозяин, — это ничего, с кем не бывает. От тюрьмы да от сумы не отказывайся. Жалко, что Симакова тогда на тот свет не отправил. Из-за него, из-за него у меня все прахом пошло...

Сказав это, Прокоп Захарович стукнул кулаком по столу и громко заплакал.

Я подсел к нему и попытался успокоить, но он отстранил меня своей костлявой рукой:

— Аннушку свою до сих пор до болести жалею. Погубил ее черт рыжий. Увез в район, а потом бросил. Помучилась она, видать, горемычная, пометалась да и веревку на шею накинула. Бабы говорили, что она пила хлестко в последнее время, с горя, мол... Но не верю я этому, не верю. Не было такого... Эх, — смахнул он слезу, — была бы сейчас жива, все бы простил, слова бы худого она от меня не услышала. Чего в жизни не бывает... А ты, Дмитрий, где? От вас ведь ни слуху ни духу ни от которого. Жаль, что отца вашего я в живых не застал — хороший был мужик.

Я подробно рассказал ему о себе, о Костице и матери, о последнем своем приезде в деревню.

— А Зинка Барабанова где? — спросил я, вспоминая те давние майские дни.

— Не при мне она здесь жила, — сухо ответил Прокоп Захарович. — Слыкал, что жила такая, но глазами не видывал. Знаю, что она на Петров день где-то пьянствовала и по дороге уходилась в канаве — лето тогда дождливое очень было. И говорили, что ее только через неделю нашли, когда по всей округе душина от нее пошла.

Проговорили мы с Прокопом Захаровичем долго. Потом он спохватился, всплеснул реками.

— Ты же голодный, наверно? А я-то хорош — болтаю и болтаю. Сейчас пообедаем.

Он вынес с кухни початую буханку черного хлеба, нож с источенным наполовину лезвием.

— Порежь, Дмитрий, только не обессудь — черствый очень. Третьего дня арендаторы привезли.

— Кто такие? — спросил я, но Прокоп Захарович не рас-

слышал.

— Грибочки у меня сегодня сварены. За огородом в осиннике насобирал. В прошлый год ох сколько их там было — хоть косой коси да плетьюкой носи! Нинке Толстобровой на целую посылку насобирал, отправил, а она мне потом сто спасиб написала. Нынче вот меньше, но, может, еще будут.

Он подвинул мне глубокую эмалированную чашку с грибовницей.

— Ешь на здоровье! Себе я в другую налью — мне же с крошениной надо. Зубов-то нет почти.

Я согласно кивнул головой, зачерпывая шершавой алюминиевой ложкой молодые ароматные грибы.

— Давно, наверно, грибовницы не едал?

— Такой — да. У нас грибов днем с огнем искать надо — с корнями все уносят, — ответил я и снова спросил: — Арендаторы-то откуда?

— А лешак их знает! — махнул рукой Прокоп Захарович.

— Приехали какие-то. Ферму взяли, телят кормят. Трактор есть, косилка.

— Ну и как?

— Работают. Осенью уже год будет. Только, видится мне, не те это люди. Хотя один-то к ним нашенский прильнул, Ковригин какой-то. Может, слыхал? Весной нынче крепко мочило. Дороги не стало, так они на своем тракторе-лещачице все поля перебуторили — одни ямы да колеи повсюду. А мы раньше на лошадке по сырому полюшку боялись проехать — не загубить бы! Им что — главное деньги урвать, а там хоть трава не рости. Ко мне часто заезжают. Иной раз хлеба привезут, а то и денежчат на бутылку занять. Не одну десятку так у меня и замылили. Ну да бог с ними, опровергают меня, старика, и на том спасибо. А приезжай-ка, Дмитрий, и ты сюда, — предложил вдруг Прокоп Захарович, но тут же и опроверг свое предложение. — Ты не поедешь, там уже прижился, работу по душе нашел. А мотаться из стороны в сторону не след. А то как эти арендаторы говорят: заработаем тыщонок по десять-двадцать — и тюто, папаша, поехали! А по мне так нечего болтаться, как дерымо в проруби или как этот Симаков, черт бы его побрал! Одного берега надо держаться, а не как он — шалляй-валяй жить.

— А что, Симаков все еще в совхозе заправляет? — не удерявшись, спросил я.

— Да ты что! — удивленно посмотрел на меня Прокоп Захарович. — Он где уж только не работал после совхоза. Сейчас в райцентре живет. Заготконторой командует, масло по деревням катается-собирает. С планами нелады, из года в год не выполняются, а он снова лазейку нашел, перестроился, по-теперешнему говоря. Наберет водки в райпе — а у него там

своя рука владыка — и по деревням масло закупать. А из-за вина ноне мужики все готовы отдать — не только масло, но и мать родную. Водки в магазине почти не бывает, редко кому удается купить, а у него, у Симакова этого, — всегда море разливанное! У них, видать, там гнездо осье свито. Скоро ему на пенсию идти. Всю жизнь мою, зараза, исковеркал. Да только ли мне?

Вечером Прокоп Захарович показал мне свой огород с двумя короткими грядками картошки и прочей мелочи.

— Траву сам выкосил, — с гордостью заявил он, показывая рукой на прощипывающуюся отаву. — У меня же козлушка есть — вон за огородом пасется. Все боюсь, как бы волки или двуногие какие ее не прирезали, уж больно она хороша, да и поговорить есть с кем — умная, понятливая козлушечка.

Коза, бродившая неподалеку от нас за покосившимся забором, словно подтверждая слова хозяина, подала тонкий дребезжащий голос.

— Учуяла, — весело проговорил Прокоп Захарович. — Она как человек — все понимает.

Мне было жаль оставлять Прокопа Захаровича в одиночестве, и я решил переночевать у него. Вечером, когда на траву стала садиться прохладная и обильная роса, я взял в руки косу, оставленную под окнами.

— Да не коси, Дмитрий! — попытался остановить меня хозяин. — Отдохни. Бутыочки, жаль, нет, а то бы она сейчас нам в самый раз сгодилась. И я бы, глядишь, трошечки пригубил.

Коса поначалу не слушалась моих рук. Она то впивалась носком в небольшие кочки, то пяткой врезалась в землю, с треском срезая густые белые корневища. Но потом стало получаться. Прокоп Захарович пыхтел сзади, едва успевая разбрасывать валок.

Мы раза два присаживались на лужок и курили.

— Хватит, спать уже пора, — взял он у меня косу, когда солнце скрылось за подступившим к деревне лесом. — Спасибо тебе. Я бы и за неделю столько не вымахал. Подсохнет, на повать перетаскаю охапками. Тут близко.

Утром я проснулся от приближающегося рокота трактора. Нехотя и ежась от утренней прохлады, спустился с сеновала и прошел в избу. Прокоп Захарович будто и не ложился спать: он сидел у окна и курил.

— Арендаторы едут, — мотнул он головой. — За опохмелкой, видать, ездили.

С противоположного берега Журавки спускался ярко-оранжевый гусеничник с порожней телегой. Моста через реку не было. На его месте торчали, словно противотанковые ежи, переломанные бревна. Трактор, пустив клубы дыма, пошел напрямую.

— Умывальник за печкой, не забыл, поди, — напомнил мне Прокоп Захарович. — Вода свежая, только из колодца принес, холода янка.

Трактор загрохотал рядом, сотрясая избу. Я оторвался от умывальника и не мог поверить глазам. Трактор, наматывая на залапанные глиной гусеницы и колеса зеленую траву, шел по моему вчерашнему сенокосу.

— Что они делают?! — возмутился я и бросился к выходу, выискивая глазами какую-нибудь клюку или палку.

— Не бегай! — строго остановил Прокоп Захарович, глядя на меня удивительно покорным, умоляющим взглядом. — Не трожь их! Они же хлеб мне иногда привозят... Заходят, бывает.

Я уходил из Чудиновки. Мы с Прокопом Захаровичем добрались до Журавки. Река, на удивление мне, была совсем мелкой и узкой, без тех глубоких бочажин, в которых мы когда-то высаживали щук и налимов.

— Осушили, обескровили все, — пояснил Прокоп Захарович. — Мелиораторы, ни дна бы им ни покрышки, все болота в верховьях спустили. В прошлый год река вовсе пересыхала.

— И рыбы, значит, не стало?

— Какая уж тут рыба, — горестно покачал головой Прокоп Захарович. — Дышать-то ей нечем.

Мы простились. Я вышел на угор и оглянулся. Прокоп Захарович уже бродил на вчерашнем покосе и отряхивал траву от глинистых, липких комовьев.

Справа от меня по косогору виднелась старая силосная яма, которая давным-давно потеряла свое предназначение и стала неизвестной почти никому могилой последней чудиновской лошади. Слева сиротливо стоял дуб. Вся вершина его была голой, засохшей, и только один нижний сук шелестел редкими широкими листьями. С него свисал и едва заметно покачивался кусок ржавой проволоки...

Я не понимал, для чего, но, сколько мог, набрал в грудь воздуха и пронзительно свистнул. Прокоп Захарович распрямился, вытянулся во весь рост и прощально взмахнул фуражкой.

На том месте, где я стоял, он хотел построить дом для сына.

1989 г.



Алексей Александрович
Акишин

НА ЦВЕТУЩЕМ ЛУГУ
Литературно-художественное издание
для школьников

Издания Костромской писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:

156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.

Костромская писательская организация.

Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Общее и художественное
редактирование — М.Ф.Базанков.
Оформление — по графическим произведениям
художника Александра Мариева.
Техническое редактирование, компьютерный
набор и оригинал-макет — М.М.Базанков.
Корректора — Е.А.Разумов, Н.Т.Перетягина.

Издание осуществлено при участии
администрации Павинского района
Костромской области.

Сдано в набор 12.01.1999г. Подписано к печати 23.03.1999 г.

Заказ № Печать офсетная.

Учет. изд. л. 12,8. Усл. п. л. 11,5. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в областной типографии им. М.Горького
управления по делам печати и массовой информации
 администрации Костромской области,
 г. Кострома, ул.П.Щербины,2.